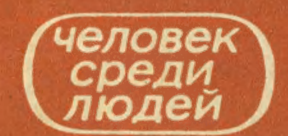
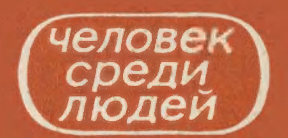
Владимир Тендряков

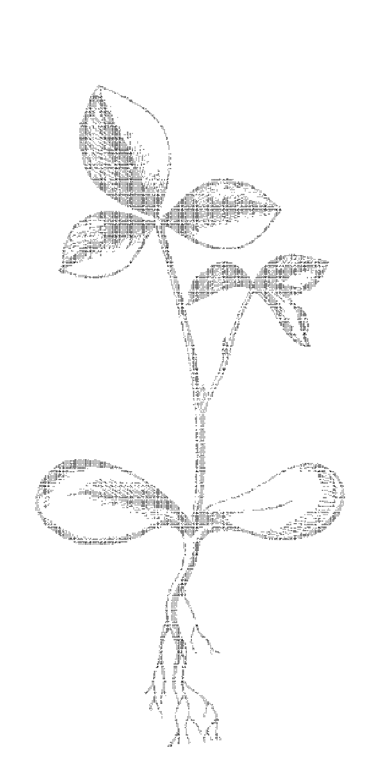
НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА




человек
среди
людей

Владимир Тендряков

НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА



■



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА — 1976

Р2
Т33

Т $\frac{10507—003}{М\text{-}105(03)76}$ 21—76

1

Как и положено, выпускной вечер открывали торжественными речами.

В спортзале, этажом ниже, слышно было — двигали столы, шли последние приготовления к банкету.

И бывшие десятиклассники выглядели сейчас уже не по-школьному: девчата в модных платьях, подчеркивающих зрелые рельефы, парни до неприличия отутюженные, в ослепительных сорочках, при галстуках, скованные своей внезапной взрослостью. Все они, похоже, стеснялись самих себя — именинники на своих именинах всегда гости больше других гостей.

Директор школы Иван Игнатьевич, величественный мужчина с борцовскими плечами, произнес прочувствованную речь: «Перед вами тысячи дорог...» Дорог тысячи, и все открыты, но, должно быть, не для всех одинаково. Иван Игнатьевич привычно выстроил выпускников в очередь соответственно их прежним успехам в школе. Первой шла та, что ни с кем не сравнима, та, что все десять лет оставляла других за своей спиной,— Юлечка Студёнцева. «Украсит любой институт страны...» Следом за ней была двинута тесная когорта «несомненно способных», каждый член ее поименован, каждому воздано по заслугам. Генка Голиков был назван среди них. Затем отмечены вниманием, но не превознесены «своеобразные натуры» — характеристика, сама по себе грешащая неопределенностью,— Игорь Проухов и другие. Кто именно «другие», директор не счел нужным

углубляться. И уже последними — все прочие, безымянные, «которым школа желает всяческих успехов». И Натка Быстрова, и Вера Жерих, и Сократ Онучин оказались в числе них.

Юлечке Студёнцевой, возглавлявшей очередь к заветным дорогам, надлежало выступить с ответной речью. Кто, как не она, должен поблагодарить свою школу — за полученные знания (начиная с азбуки), за десятилетнюю опеку, за обретенную родственность, которую невольно унесет каждый.

И она вышла к столу президиума — невысокая, в белом платье с кисейными плечиками, с белыми бантами в косичках крендельками, девочка-подросток, никак не выпускница, на точеном личике привычное выражение суровой озабоченности, слишком суровой даже для взрослого. И взведенно-прямая, решительная, и в посадке головы сдержанная горделивость.

— Мне предложили выступить от лица всего класса, я хочу говорить от себя. Только от себя!

Это заявление, произнесенное с безапелляционностью никогда и ни в чем не ошибающейся первой ученицы, не вызвало возражений, никого не насторожило. Директор заулыбался, закивал и поерзал на стуле, удобнее устраиваясь. Что могла сказать, кроме благодарности, она, слышавшая в школе только хвалу, только восторженные междометия в свой адрес. Потому лица ее товарищей по классу выражали дежурное терпеливое внимание.

— Люблю ли я школу? — Голос звенящий, взволнованный.— Да, люблю! Очень!.. Как волчонок свою нору... И вот нужно вылезать из своей норы. И оказывается — сразу тысячи дорог!.. Тысячи!..

И по актовому залу пробежал шорох.

— По какой мне идти? Давно задавала себе этот вопрос, но отмахивалась, пряталась от него. Теперь все — прятаться нельзя. Надо идти, а не могу, не знаю... Школа заставляла меня знать все, кроме одного — что мне нравится, что я люблю. Мне что-то нравилось, а что-то не нравилось. А раз не нравится, то и дается трудней, значит, этому ненравящемуся и отдавай больше сил, иначе не получишь пятерку. Школа требовала пятерок, я слушалась и... и не смела сильно любить... Теперь вот оглянулась, и оказалось — ничего не люблю. Ничего, кроме мамы, папы и... школы. И тысячи дорог —

и все одинаковы, все безразличны... Не думайте, что я счастливая. Мне страшно. Очень!

Юлечка постояла, глядя птичьими тревожными глазами в молчащий зал. Было слышно, как внизу передвигают столы для банкета.

— У меня все,— объявила она и мелкими дергающимися шажочками двинулась к своему месту.

2

Года два назад был спущен запрет — в средних школах на выпускных вечерах нельзя выставлять на столы вино.

Этот запрет возмутил завуча школы Ольгу Олеговну: «Твердим: выпускной вечер — порог в зрелость, первые часы самостоятельности. И в то же время опекаем ребят, как маленьких. Наверняка они это воспримут как оскорбление, наверняка принесут с собой тайком или открыто вино, а в знак протеста, не исключено, кой-чего и покрепче».

Ольгу Олеговну в школе за глаза звали Вещим Олегом: «Вещий Олег сказал... Вещий Олег потребовал...» — всегда в мужском роде. И всегда директор Иван Игнатьевич уступал перед ее напористостью. Ольге Олеговне нынче удалось убедить членов родительского комитета — бутылки сухого вина и сладкого кагора стояли на банкетных столах, вызывая огорченные вздохи директора, предчувствовавшего неприятные разговоры в гороно.

Но букетов с цветами все-таки стояло больше, чем бутылок: прощальный вечер должен быть красив и благопристоен, вселять веселье, однако в границах дозволенного.

Словно и не было странного выступления Юлечки Студёнцевой. Подымались тосты за школу, за здоровье учителей, звон стаканов, смех, перекатные разговоры, счастливые, раскрасневшиеся лица — празднично. Не первый выпускной вечер в школе, и этот начинался как всегда.

И только, словно сквознячок в теплой комнате, среди разгоревшегося веселья — охолаживающая настороженность. Директор Иван Игнатьевич несколько рассеян, Ольга Олеговна замкнуто-молчалива, а остальные учителя бросают на них пытливые взгляды. И Юлечка Сту-

дёнцева сидела за столом потупившись, связанно. К ней время от времени подбегал кто-нибудь из ребят, чокался, перекидывался парой слов — выражал свою солидарность — и убегал.

Как всегда, чинное застолье быстро сломалось. Бывшие десятиклассники, кто оставив свой стул, кто вместе со стулом, передвигались к учителям.

Самая большая, самая шумная и тесная компания образовалась вокруг Нины Семеновны, учительницы начальной школы, которая десять лет назад встретила всех этих ребят на пороге школы, рассадила по партам, заставила раскрыть буквари.

Нина Семеновна крутилась среди своих бывших учеников и только сдавленно выкрикивала:

— Наточка! Вера! Да господи!

И платочком осторожно утирала слезы под крашеными ресницами.

— Господи! Какие вы у меня большие!

Натка Быстрова была на полголовы выше Нины Семеновны, да и Вера Жерих тоже, похоже, перегнала ростом.

— Вы для нас самая, самая старая учительница, Нина Семеновна!

«Старой учительнице» едва за тридцать, белолица, белокура, подобранно-стройна. Тот первый, десятилетней давности урок нынешних выпускников был и ее самым первым самостоятельным уроком.

— Такие большие у меня ученицы! Я действительно старая...

Нина Семеновна утирала платочком слезы, а девчонки лезли обниматься и тоже плакали — от радости.

— Нина Семеновна, давайте выпьем на брудершафт! Чтоб на ты,— предложила Натка Быстрова.

И они рука за руку выпили, обнялись, расцеловались.

— Нина, ты... ты славная! Очень! Мы все время тебя помнили!

— Наточка, а какая ты стала — глаз не отвести. Была, право, гадким утеночком, разве можно догадаться, что вырастешь такой красавицей... А Юлечка... Где Юлечка? Почему ее нет?

— Юлька! Эй! Сюда!

— Да, да, Юлечка... Ты не знаешь, как часто я о тебе думала. Ты самая удивительная ученица, какие у меня были...

Возле долговязого физика Павла Павловича Решникова и математика Иннокентия Сергеевича с лицом, стянутым на одну сторону страшным шрамом, собрались серьезные ребята. Целоваться, обниматься, восторженно изливать чувства они считают ниже своего достоинства. Разговор здесь сдержанный, без сантиментов.

— В физике произошли подряд две революции — теория относительности и квантовая механика. Третья наверняка будет не скоро. Есть ли смысл теперь отдавать свою жизнь физике, Павел Павлович?

— Ошибаешься, дружочек: революция продолжается. Да! Сегодня она лишь перекинулась на другой континент — астрономию. Астрофизики что ни год — делают сногсшибательные открытия. Завтра физика вспыхнет в другом месте, скажем в кристаллографии...

Генка Голиков, парадно-нарядный, перекинув ногу за ногу, с важной степенностью рассуждает — преисполнен уважения к самому себе и к своим собеседникам.

Возле директора Ивана Игнатьевича и завуча Ольги Олеговны толкучка. Там разоряется Вася Гребенников, низкорослый паренек, картинно наряженный в черный костюм, галстук с разводами, лакированные туфли. Он, как всегда, переполнен принципами — лучший активист в классе, ратоборец за дисциплину и порядок. И сейчас Вася Гребенников защищает честь школы, поставленную под сомнение Юлечкой Студёнцевой:

— Наша альма матер! Даже она, Юлька, как бы ни заносилась, а не выкинет... Нет! Не выкинет из памяти школу!

Против негодующего Васи — ухмыляющийся Игорь Проухов. Этот даже одет небрежно — рубашка не первой свежести и мятые брюки, щеки и подбородок в темной юношеской заросли, не тронутой бритвой.

— Перед своим высоким начальством я скажу...

— Бывшим начальством,— с осторожной улыбкой поправляет его Ольга Олеговна.

— Да, бывшим начальством, но по-прежнему уважаемым... Трепетно уважаемым! Я скажу: Юлька права, как никогда! Мы хотели наслаждаться синим небом, а нас заставляли глядеть на черную доску. Мы задумывались над смыслом жизни, а нас неволили — думай над равнобедренными треугольниками. Нам нравилось слушать Владимира Высоцкого, а нас заставляли заучивать ветхозаветное: «Мой дядя самых честных пра-

вил...» Нас превозносили за послушание и наказывали за непокорность. Тебе, друг Вася, это нравилось, а мне нет! Я из тех, кто ненавидит ошейник с веревочкой...

Игорь Проухов в докладе директора отнесен был в самобытные натуры, он лучший в школе художник и признанный философ. Он упивается своей обличительной речью. Ни Ольга Олеговна, ни директор Иван Игнатьевич не возражают ему — снисходительно улыбаются. И переглядываются.

Своего собеседника нашел даже самый молодой из учителей, преподаватель географии Евгений Викторович — над безмятежно чистым лбом несолидный коровий зализ, убийственно для авторитета розовощек. Перед ним Сократ Онучин:

— Мы теперь имеем равные гражданские права, а потому разрешите стрельнуть у вас сигарету.

— Я не курю, Онучин.

— Напрасно. Зачем отказывать себе в мелких житейских наслаждениях. Я лично курю с пятого класса. Нелегально, разумеется,— до сегодняшнего дня.

И только преподавательница литературы Зоя Владимировна сидела одиноко за столом. Она была старейшая учительница в школе, никто из педагогов не проработал больше — сорок лет с гаком! Она встала перед партами еще тогда, когда школы делились на полные и неполные, когда двойки назывались неудами, а плакаты призывали граждан молодой Советской страны ликвидировать кулачество как класс. С тех лет и через всю жизнь она пронесла жесткую требовательность к порядку и привычку наряжаться в темный костюм полумужского покроя. Сейчас справа и слева от нее стояли пустые стулья, никто не подходил к ней. Прямая спина, вытянутая тощая старушечья шея, седые до тусклого алюминиевого отлива волосы и блекло-желтое, напоминающее увядший цветок луговой купальницы лицо.

Заиграла радиола, и все зашевелились, тесные кучки распались, казалось, в зале сразу стало вдвое больше народу.

. . . .

Вино выпито, бутерброды съедены, танцы начали повторяться. Вася Гребенников показал свои фокусы с часами, которые прятал под опрокинутую тарелку и вежливо доставал из кармана директора. Вася делал эти фокусы с торжественной физиономией, но все давно

их знали — ни одно выступление самодеятельности не проходило без пропавших у всех на глазах часов.

Дошло дело до фокусов — значит, от школьного вечера ждать больше нечего. Ребята и девчата сбивались по углам, шушукались голова к голове.

Игорь Проухов отыскал Сократа Онучина:

— Старик, не пора ли нам вырваться на свежий воздух, обрести полную свободу?

— Мы мыслим в одном плане, фратер. Генка идет?

— И Генка, и Натка, и Вера Жерих... Где твои гусли, бард?

— Гусли здесь, а ты приготовил пушечное ядро?

— Предлагаю захватить Юльку. Как-никак она сегодня встряхнула основы.

— У меня лично возражений нет, фратер.

Учителя один за другим потянулись к выходу.

3

Большинство учителей разошлось по домам, задержались только шесть человек.

Учительская щедро залита электрическим светом. За распахнутыми окнами по-летнему запоздало назревала ночь. Вливались городские запахи остывающего асфальта, бензинового перегара, тополиной свежести, едва уловимой,— жалкий, стертый след минувшей весны.

Снизу все еще доносились звуки танцев.

Ольга Олеговна имела в учительской свое насиженное место — маленький столик в дальнем углу. Между собой учителя называли это место прокурорским. Во время педсоветов отсюда часто произносились обвинения, а порой и решительные приговоры.

Физик Решников с Иннокентием Сергеевичем пристроились у открытого окна и сразу же закурили. Нина Семеновна опустилась на стул у самой двери. Она здесь гостья — в другом конце школы есть другая учительская, поменьше, поскромней, для учителей начальных классов, там свой завуч, свои порядки, только директор один, все тот же Иван Игнатьевич. Сам Иван Игнатьевич не сел, а с насупленно-распаренным лицом, покачивая пухлыми борцовскими плечами, стал ходить по учительской, задевая за стулья. Он явно старался показать, что говорить не о чем, что какие бы то ни было прения неуместны — время позднее, вечер окончен. Зоя Владими-

ровна уселась за длинный, через всю учительскую стол,— натянуто-прямая, со вскинутой седой головой... снова обособленная. У нее, похоже, врожденный талант — оставаться среди людей одинокой.

С минуту Ольга Олеговна оглядывала всех. Ей давно за сорок, легкая полнота не придает внушительности, наоборот, вызывает впечатление мягкости, податливости — домашняя женщина, любящая уют,— и лицо под неукротимо вьющимися волосами тоже кажется обманчиво мягким, чуть ли не бесхарактерным. Энергия таилась лишь в больших, темных, неувядающе красивых глазах. Да еще голос ее, грудной, сильный, заставлял сразу настораживаться.

— Ну так что скажете о выступлении Студёнцевой? — спросила Ольга Олеговна.

Директор остановился посреди учительской и произнес, должно быть, заранее заготовленную фразу:

— А, собственно, что случилось? На девочку нашла минута растерянности, вполне, кстати, оправданная, и она высказала это в несколько повышенном тоне.

— За наши труды нас очередной раз умыли,— сухо вставила Зоя Владимировна.

Ольга Олеговна задержалась на увядшем лице Зои Владимировны долгим взглядом. Они не любили друг друга и скрывали это даже от самих себя. И сейчас Ольга Олеговна, пропустив замечание Зои Владимировны, спросила почти с кротостью:

— Значит, вы думаете, что ничего особенного не произошло?

— Если считать, что черная неблагодарность — ничего особого,— съязвила Зоя Владимировна и с досадой хлопнула сухонькой невесомой ладошкой по столу.— И самое обидное — одернуть, наказать мы уже не можем. Теперь эта Студёнцева вне нашей досягаемости!

От этих слов вспыхнула Нина Семеновна, густо, до слез в глазах:

— Одернуть? Наказать?! Не понимаю! Я... Я не встречала таких детей... Таких чутких и отзывчивых, какой была Юлечка Студёнцева. Через нее... Да, главным образом через нее я, молодая, глупая, неумелая, поверила в себя: могу учить, могу добиваться успехов!

— А мне кажется, произошло нечто особенное,— чуть возвысила голос Ольга Олеговна.

Директор Иван Игнатьевич пожал плечами.

— Юлия Студёнцева — наша гордость, человек, в котором воплотились все наши замыслы. Наш многолетний труд говорит против нас! Разве это не повод для тревоги?

Громоздящиеся над темными глазами волосы, бледное лицо — Ольга Олеговна из своего угла требовательно разглядывала разбросанных по светлой учительской учителей.

4

Припасена большая круглая бутылка «гамзы» в пластиковой плетенке — «пушечное ядро». Сократ Онучин прихватил свою гитару. Трое парней и три девушки из десятого «А» решили провести ночь под открытым небом.

Самым видным в этой группе был Генка Голиков. Генка — городская знаменитость, открытое лицо, светлоглаз, светловолос, рост сто девяносто, плечист, мускулист. В городской секции самбо он бросал через голову взрослых парней из комбината — бог мальчишек, гроза шпанистой ребятни из пригородного поселка Индии.

Это экзотическое название произошло от весьма обыденных слов — «индивидуальное строительство», сокращенно «индстрой». Когда-то, еще при закладке комбината, из-за острой нехватки жилья было принято решение — поощрять частную застройку. Выделили место — в стороне от города, за безымянным оврагом. И пошли там лепиться дома — то тяп-ляп на скорую руку, сколоченные из горбыля, крытые толем, то хозяйски-добротные, под железом, с застекленными террасками, со службами. Давно вырос город, немало жителей Индии переселились в пятиэтажные, с газом, с канализацией здания, но Индия не пустела и не собиралась вымирать. В ней появлялись новые жители. Индия — пристанище перекати-поля. В Индии свои порядки и свои законы, приводящие порой в отчаянье милицию.

Недавно там объявился некий Яшка Топор. Ходил слух — он отсидел срок «за мокрое». Яшке подчинялась вся Индия, Яшку боялся город. Генка Голиков недавно схлестнулся с ним. Яшка был красиво брошен на асфальт на глазах его оробевших «шестерят», однако поднялся и сказал: «Ну, красавчик, живи да помни — Топор по мелочи не рубит!» Пусть помнит сам Яшка,

обходит стороной. Генка — слава города, защитник слабых и обиженных.

Игорь Проухов — лучший друг Генки. И, наверное, достойный друг, так как сам по-своему знаменит. Жители города больше знают не его самого, а рабочие штаны, в которых Игорь ходит писать этюды. Штаны из простой парусины, но Игорь уже не один год вытирает о них свои кисти и мастихин, а потому штаны цветут немыслимыми цветами. Игорь гордится ими, называет: «Мой поп-арт!»

Картины Игоря пока нигде не выставлялись, кроме школы, зато в школе они вызывали кипучие скандалы, порой даже драки. Для одних ребят Игорь гений, для других ничтожество. Впрочем, подавляющее большинство не сомневалось — гений! На картинах Игоря деревья сладко-розовые, а закаты ядовито-зеленые, лица людей безглазые, а цветы реснично-глазастые.

И еще славен Игорь Проухов в школе тем, что может легко доказать: счастье — это наказание, а горе — благо, ложь правдива, а черное — это белое. Никогда не угадаешь, что загнет в следующую минуту. Потрясающе!

Натка Быстрова... Уже на улицах встречные мужчины оглядываются ей вслед с ошалевшими лицами: «Ну и ну!» Лицо с чеканными бровями, текучая шея, покатые плечи, походка с напором, грудью вперед — посторонись!

Еще недавно Натка была обычной долговязой, угловатой, веселой, беспечно пренебрегающей науками девчонкой. Всем известно, что Генка Голиков вздыхает по ней. А вздыхает ли по Генке Натка — этого никто не разберет. Сам Генка тоже.

Вера Жерих, Наткина подруга, рыхловато-широкая, вальяжная, лицо крупное, мягкое, румяное. Она не умеет ни петь, ни плясать, ни горячо спорить на высокие темы, но всегда готова всплакнуть над чужой бедой, помирить поссорившихся, похлопотать за провинившегося. И ни одна вечеринка не обходится без нее. «Компанейская девка» — в устах Сократа Онучина это высшая похвала.

О себе же Сократ говорил: «Мама сделала меня смешным по обличью и по вывеске — папину фамилию окрутила с древнегреческим женихом. Уникальный гибрид — антик с алкашом. Чтоб, глядя на меня, люди не лопались от смеха, я обязан быть стильным». А потому Сократ, несмотря на школьные запреты, умудрился от-

растить до плеч волосы, принципиально их не расчесывал, носил на немытой шее девичью цветную косынку, на груди — амулет, камень с дыркой на цепочке, куриный бог. И никогда не стиранные, донельзя узкие, с рваной бахромой внизу джинсы. И гитара через плечо. И суетливо вертляв — лицо из острых углов, серое, гримасничающее, с веселыми, без ресниц глазками. Непревзойденный исполнитель песен Высоцкого.

Генка считается врагом Индии, Сократа принимают там как друга — всем одинаково поет его гитара. Всем, кто хочет слушать. Даже Яшке Топору...

Шестой была Юлечка Студёнцева.

Сократ кривлялся, выдавал под гитару о жирафе в «желтой жаркой Африке», влюбившемся в антилопу:

Поднялся тут галдеж и лай,
И только старый попугай
Кр-р-рык-нул из ветвей:
«Жыр-раф-ф бал-шой,
Яму вид-ней!..»

Юлечка, держась за руки с Наткой и Верой, несла суровое каменное личико.

Город внезапно заканчивался обрывом, падающим к реке. Здесь самое высокое место. Здесь, над обрывом, разбит скверик. В центре его вздымался вровень с молодыми липками обелиск с мраморной доской, повернутой к городу. Доска была густо покрыта фамилиями погибших воинов:

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ — рядовой
БАЗАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ — рядовой
БУТЫРИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ — старший сержант...

И так далее, тесно друг к другу, двумя столбцами.

Нет, воины пали не здесь и не лежали под памятником посреди сквера. Война и близко не подходила к этому городу. Те, чьи имена выбиты на мраморной доске, закопаны безвестно в приволжских степях, на полях Украины, среди болот Белоруссии, в землях Венгрии, Польши, Пруссии, бог знает где. Эти люди здесь когда-то жили, отсюда они ушли на войну, обратно не вернулись. Обелиск на высоком берегу — могила без покойников, каких много по нашей стране.

Мир за гребнем берега утопал в первобытной непотревоженной тьме. Там, за рекой,— болота, перелески, нежилые места, нет даже деревень. Плотная влажная

стена ночи не пробивается ни одним огоньком, а напротив нее убегают вдаль сияющие этажи, ровные строчки уличных фонарей, блуждающие красные светляки снующих машин, холодное неоновое полыхание над крышей далекого вокзального здания — огни, огни, огни, целая звездная галактика. Обелиск с именами погибших в дальних краях, схороненных в неведомых могилах, стоит на границе двух миров — обжитого и необжитого, щедрого света и непокоренной тьмы.

Он поставлен давно, этот обелиск, до появления на свет всей честной компании, которая явилась сюда с гитарой и бутылкой «гамзы». Эти парни и девушки видели его еще во младенчестве, они много лет тому назад, едва осилив печатную грамоту, прочитали по складам первые фамилии: «Артюхов Павел Дмитриевич — рядовой, Базаев...» И наверняка тогда им не хватило терпения дочитать длинный список до конца, а потом он примелькался, перестал привлекать внимание, как и сам обелиск. До него ли, когда окружающий мир заполнен куда более интересными вещами: будка «Мороженое», река, где всегда клюют пескари и работает лодочная станция, в конце сквера кинотеатр «Чайка», там за тридцать копеек, пожалуйста, тебе покажут и войну, и выслеживание шпиона, и «Ну, погоди!» с удачливым зайцем — обхохочешься. Мир с мороженым, пескарями, лодками, фильмами изменчив, не изменчив в нем лишь обелиск. Быть может, каждый из этих мальчишек и девчонок, чуть повзрослев, случайно натыкаясь взглядом на мраморную доску, задумывался на минуту, что вот какой-то Артюхов, Базаев и остальные с ними погибли на войне... Война — далекое-далекое время, когда их не было на свете. А еще раньше была другая война, гражданская. И революция. А раньше революции правили цари, среди них самым знаменитым был Петр Первый, он тоже вел войны... Последняя война для ребят едва ли не так же старинна, как и все остальные. Если б обелиск вдруг исчез, они сразу бы заметили это, но, когда он незыблемо стоит на своем месте, нет повода его замечать.

Сейчас они пришли к обелиску потому, что здесь, возле него, красиво даже ночью — лежит рассыпанный огнями город внизу, шелестят пронизанные светом липки, и ночь бодряще пахнет рекой. И пусто в этот поздний час, никто не мешает. И есть скамейка, есть тяжелая,

круглая, как ядро старинной пушки, бутылка «гамзы». Красное вино в ней при застойно-равнодушном, бесцветном свете ртутных фонарей выглядит черным, как сама ночь, напирающая на обрывистый берег.

Бутылка «гамзы» и один на всех стакан.

Сократ передал гитару Вере Жерих, со знанием дела стал откупоривать «пушечное ядро».

— Фратеры! Пьем по очереди кубок мира.

Игорь скромно попросил:

— Если нет возражений, то я...

Возражений быть не могло, обязанность Игоря Проухова, общепризнанного мастера высокого стиля,— провозглашать первый тост.

Сократ, нежно обнимая бутылку, нацедил ночной влагой полный стакан.

— Давай, Цицерон! — подбодрил Генка.

Игорь крепко сбит, кудлат, между разведенных скул — рубленый нос, крутые салазки в темной дымке — зарождающаяся художническая борода, отрастить которую Игорь поклялся еще перед экзаменами. Он поднял стакан, мечтательно нацелился на него носом, минуту-другую выдерживал молчание, чтоб все прониклись моментом, чтоб в ожидании откровения испытали в душе некую священную зябкость.

— Друзья-путники!— с пафосом провозгласил он.— Через что мы сегодня перешагнули? Чего мы добились?..

Сократ Онучин во время паузы успел произвести нехитрый обмен — бутылку Вере, себе гитару. И он в ответ ударил по струнам и заблеял:

— Сво-бода раз! Сво-бо-да два! Сво-о-обо-о-да!

Это Игорю и было надо — точку опоры.

— Этот гейдельбергский человек хочет свободы! — возвестил он.— А может, вы все того же хотите?

— А почему бы и нет,— осторожно улыбаясь, подкинул Генка.

— Для всех свободы или только для себя?

— Не считай нас узурпаторами, мальчик с бородкой.

— Для всех! Сво-боды?! Очнись, толпа! Подлецу свобода — подличай! Убийце свобода — убивай! Для всех!.. Или вы, свободомыслящие олухи, считаете, что человечество сплошь состоит из безобидных овечек?

В пренебрежении к слушателям и состояла обычно ораторская сила Игоря Проухова. Расправив плечи, с

темным подбородком и светлым челом, он принялся сокрушать:

— Знаете ли вы, невежи, что даже мыши, убогие создания, собираясь в кучу, устанавливают порядок: одни подчиняют, другие подчиняются? И мыши, и обезьяны-братья, и мы, человеки! Се ля ви! В жизни ты должен или подчинять, или подчиняться! Или — или! Середины нет и быть не может!

— Ты, конечно, хочешь подчинять? — спросил Генка.

Повторялось то, что тысячу раз происходило в стенах школы,— Игорь Проухов вещал, Генка Голиков выступал против. У философа из десятого «А» был только один постоянный оппонент.

— Кон-нечно,— с величавой снисходительностью согласился Игорь.— Подчи-нять.

— Тогда что ж ты возишься с кисточками, Кай Юлий Цезарь? Брось их, вооружись чем потяжелее. Чтоб видели и боялись — можешь проломить голову.

— Ха! Слышишь, народ? — Нос Игоря порозовел от удовольствия.— Все ли здесь такие простаки, что считают — кисть художника легка, кистень тяжелее, а еще тяжелее пушка, танк, эскадрилья бомбардировщиков, начиненных водородными бомбами? Заблуждение обывателя!

— Виват Цезарю с палитрой вместо щита!

— Да, да, дорогие обыватели, вам угрожает Цезарь с палитрой. Он завоюет вас... Нет, не пугайтесь, он, этот Цезарь, не станет пробивать ваши качественные черепа и в клочья вас рвать атомными бомбами тоже не станет. Забытый вами, презираемый вами до поры до времени, он где-нибудь на мансарде будет мазать кисточкой по холсту. И сквозь ваши монолитные черепа проникнет созданная им многокрасочная отрава: вы станете радоваться тому, что радует нового Цезаря, ненавидеть то, что он ненавидит, послушно любить, послушно негодовать, окажетесь в полной его власти...

— А ежели этого не случится? Ежели черепа обывателей окажутся непроницаемыми? Или такого быть не может?

— Может,— согласился Игорь спокойно и важно.

— И что тогда?

— Тогда произойдет в мире маленькое событие, совсем пустячное,— сдохнет под забором некий Игорь Проухов, не сумевший стать великим Цезарем.

— Вот это я как-то себе отчетливее представляю.

Игорь вознес над головой стакан.

— Я, бывший раб школы номер три, пью сейчас за власть над другими! Желаю вам всем властвовать кто как сможет!

Священнодейственно навесив над стаканом нос, Игорь сделал опустошающий глоток, царственным жестом не глядя отвел стакан к Сократу, уже держащему наготове бутылку, дождался, пока тот дольет, протянул Генке:

— Старик, ты оттолкнешь протянутую руку?

Генка принял стакан и задумался. Невнятная улыбка блуждала у него на лице. Наконец он тряхнул волосами:

— За власть?.. Пусть так! Но извини, Цезарь, я выпью не с тобой.

И он шагнул к Натке.

— Пью за власть! Да! За власть над собой!..— Генка выпил до дна, с минуту глядел повлажневшими глазами на невозмутимую Натку.— Сократ! Наполни!

Но Сократ скупенько плеснул до половины — девчонке хватит, бутылка-то не бездонная.

— Ну, Натка... — попросил Генка.— Ну!

Натка поднялась, распрямилась, переняла стакан — в движениях картинная лень. Лицо ее было в тени, освещены только лоб да яркие брови. И рука — оголенная до плеча, бескостно-белая, струящаяся, лишь бледные пальцы, обнимающие черный сгусток вина в стакане, в беспокойном изломе.

— Натка, ну!

Игорь Проухов наблюдал со стороны с едва сочащейся снисходительно-мудрой улыбкой.

Натка пошевелилась, со строгой пеленой в потемневших глазах, подняла стакан:

— Когда-нибудь, Гена, за власть... Не за свою. За чью-то... над собой. Сейчас рано. Сейчас...— Вскинутый стакан в белой струящейся руке.— За свободу!

И запрокинула голову, показав на мгновение ослепительно колыхнувшееся горло.

Генка сразу поскучнел, а в мудрой улыбке Игоря появился новый оттеночек — столь же снисходительное сочувствие.

А Сократ уже хлопотал возле Веры.

— Мне — за власть? — У Веры блаженно раздвинуты румяные щеки.

— Не стесняйся, мать, не стесняйся.

— Надо мной всегда кто-нибудь будет властвовать.

— За них, мать, за них хлебай. Приходится.

— За них! Пусть их власть не будет уж очень тяжелой.

— Виват, мать, виват! Честный загибон... Юлька, твоя теперь очередь... Эй, Цезарь с палитрой, слушай, как тебе Юлька перо вставит!

Юлечка приняла стакан, долго разглядывала черное вино.

— Власть...— произнесла она,— Игорь, ты сказал, даже мыши подчиняют друг друга. И ты собираешься перенять — живи по-мышиному, сильный давит слабого?.. Не хочу!

Юлечка оторвала взгляд от стакана, уставилась на Генку — беспокойно-тревожные глаза пойманной птицы, сжатые губы. Генка невольно поежился, а Юлечка двинулась к нему. Ей пришлось обогнуть Натку, неподвижно-величественную, как богиня в музее.

— Гена...— подойдя вплотную, запрокинув лицо, дрогнувшим голосом.— Вот я сегодня перед всеми... призналась: не знаю, куда идти. Но ведь и ты еще не знаешь. Давай выберем одну дорогу. А? Я буду хорошим попутчиком, Гена, верным...

Генка растерянно молчал.

— Пойдем вместе, возьмем Москву, любой институт. А?..

Генка стоял, пряча глаза, с порозовевшими скулами. Даже Игорь озадаченно замер. Сократ с бутылкой сучил ногами. Для всех откровение Юлечки — неожиданность.

А с бледного лица — тревожно блестящие, требовательно ждущие глаза.

Генка смотрел под ноги, молчал. И Натка возвышалась в стороне изваянием.

— Ладно, Гена...— Замороженный голос.— Я знала — ты не ответишь. Сказала это, чтоб себя проверить: могу при всех, не сробею, не дрогну...

И вызывающе решительное личико Юлечки сморщилось, она отвернулась. В неловкой судороге тонкая рука, обхватившая стакан.

— Почему?! — сдавленный выкрик в сторону.— Почему я все эти годы — одна, одна, одна?! Почему вы

меня сторонились? Боялись, что плохое сделаю? Не нравилась? Или просто не нужна?.. Но поч-чему?!

Вера Жерих надвинулась на Юлечку всем своим просторным, мягким телом, обняла:

— Юлеч-ка!.. Тебя кто-то за ручку... Да зачем? Ты сама других поведешь.

Игорь со стороны обронил:

— А ты, оказывается, отчаянная, Юлька. Вот не знали.

Сократ засуетился:

— Слезы, фратеры! Сегодня! Я вам спою веселое!

— Не надо. Уже все...

Юлечка отстранила Веру и улыбнулась, и эта улыбка, жалкая, дрожащая, осветила ее серьезное лицо.

— Можно, я выпью за тебя, Натка? За твое счастье, которого у меня нет. К тебе тянутся все и всегда будут тянуться... Завидую. Не скрываю. Потому и пью...

Натка не пошевелилась. Натка не возразила. Сократ ударил по струнам.

5

Зоя Владимировна устала считать, сколько раз в своей жизни она провожала выпускников из школы, и почти всегда эти праздничные выпускные вечера оставляли в ней столь тягостный осадок, что казалось — все кончено, дальше нет смысла жить.

Почтительно удивлялись: она учит уже сорок лет! На самом деле еще больше, почти полвека, хотя ей самой было не столь уж и много от роду — шестьдесят пять.

Ее родная деревня, холщовая и лапотная, имела до революции только двух грамотеев — бывшего волостного писаря, который требовал от мужиков, чтоб его называли барином, и спившегося дьячка-расстригу. Даже местный богатей Панкрат Кузовлев, крупно торговавший льном и кожами, не умел расписываться в казенных бумагах.

В начале двадцатых годов в деревню прислали учителя, бойкого парнишку с покалеченной на польском фронте рукой. Он принялся не только за детишек, но и за взрослых, вошло в уличный быт новое слово «ликбез».

Детишки быстрей баб и мужиков осваивали букварь, сами становились учителями. Зойка, шестнадцатилетняя дочь Володьки Ржавого, деревенского коновала и

лихого балалаечника, натаскивала потеющих от натуги бородачей читать по слогам: «Мы не рабы. Рабы не мы».

Через два года сельсовет направил ее в учительское училище, после него она попала в лесной починок, еще более глухой, чем родная деревня. Там ее ждал пустой, оставшийся после сосланного кулака пятистенок — его надлежало сделать школой.

Сначала эта школа состояла из одной первой группы, в ней рядом с малышами сидели починковские парни и девки, пытавшиеся женихаться на уроках. Потом стало четыре группы: все в одной комнате, перед одной доской, и учительница на всех одна —Зоя Владимировна.

После годичных курсов усовершенствования ее перебросили в рабочий поселок. Он на ее глазах стал городом. Сносились старые дома и старые школы, строились новые, светлые и просторные, понаехали педагоги с институтским образованием. А Зоя Владимировна, как прежде, билась с учениками, больше всего сил отдавала самым ленивым, самым неподатливым, не любящим ни школу, ни учителей-мучителей.

Педагоги с институтским образованием поглядывали на нее свысока, но она забивала их своей добросовестностью — до самоотречения. Она не вышла замуж, не обзавелась семьей: до того ли, когда все время, все силы — ученикам, только им! Неподатливым — в первую очередь.

И каждый раз, когда эти ученики оканчивали школу, приходили на прощальный вечер, нарядные, казалось, выросшие со времени последнего экзамена, Зоя Владимировна оставалась в одиночестве. Ученики толпились вокруг других учителей, с другими обнимались, целовались, пили, спорили, и никому в голову не приходило подойти к ней, обняться, поговорить по душам, кинуть хотя бы торопливое: «Прощайте!»

Все силы, все время, из года в год, из десятилетия в десятилетие, забывая о себе,— только для учеников! А ученики забывают о ней, не успев переступить порог школы. Так ради чего она бьется как рыба об лед? Ради чего она жертвовала своим?.. Не хочется жить.

Но она жила, не уходила на пенсию, потому что без школы не могла. Без школы совсем пусто.

Неуважение учеников к себе она еще как-то переносила — попривыкла за много лет. Но вот неуважение к школе... Выступление Юлии Студёнцевой казалось Зое

Владимировне чудовищным. Если б такое отмочил кто-то другой, можно бы не огорчаться, но Студёнцева! На руках носили, славили хором и поодиночке, умилялись — предательство, иначе и не назовешь. А Ольга Олеговна выгораживает, видит какие-то особые причины: «Повод для тревоги...»

Зоя Владимировна оборвала молчание.

— Уж не считаете ли вы, Ольга Олеговна,— с нажимом, с приглушенным недоброжелательством,— что тут виноваты мы, а не сама Студёнцева?

И Ольга Олеговна искренне удивилась:

— Да она-то в чем виновата? Только в том, что сказала что думает?

— Я вижу тут только одно — плевок в сторону школы.

— А я — страх и смятение: ничем не увлечена, не знает, куда податься, что выбрать в жизни, к чему приспособить себя.

— Вольно же ей.

— Ей?.. Только она, Студёнцева, такая? Другие все целенаправленные натуры? Знает, по какой дороге устремиться, Вера Жерих, знает Быстрова?.. Да мы можем назвать из всего выпуска, пожалуй, только одного увлеченного человека — Игоря Проухова. Но его увлечение возникло помимо наших усилий, даже вопреки им.

— Лично я никакой своей вины тут не вижу! — отчеканила Зоя Владимировна.

— Вы никогда не требовали от учеников — заучивай то-то и то-то, не считаясь с тем, нравится или не нравится? Вы не заставляли — уделяй не нравящемуся предмету больше сил и времени?

— Да ребятам нравится собак гонять на улице, в подворотнях торчать, в лучшем случае читать братьев Стругацких, а не Толстого и Белинского. Вы хотели, чтоб я потакала невежеству, дорогая Ольга Олеговна?

Ольга Олеговна разглядывала темными загадочными глазами лицо Зои Владимировны, неизменно сохранявшее покойный цвет увядшей купальницы.

— Что же...— проговорила Ольга Олеговна.— Придется объясниться начистоту.

— А вы, значит, что-то скрывали от меня? Вот как!

— Да, скрывала. Я давно наблюдаю за вами и пришла к выводу — своим преподаванием вы, Зоя Владимировна, в конечном счете плодите невежд.

— К-как?!

— Очень извиняюсь, но это так.

— Думайте, что говорите, Ольга Олеговна!

— Попробую сейчас доказать.— Ольга Олеговна повернулась к директору: — Иван Игнатьевич, вы не против, если я ради эксперимента устрою вам коротенький экзамен?

Директор устало опустился на стул: он понял, что короткого разговора уже не получится — придется терпеть долгий спор, один из тех, которые вызывают взаимное раздражение, ломают устоявшиеся отношения и почти никогда не дают ощутимых результатов.

— Не припомните ли вы, Иван Игнатьевич, в каком году родился Николай Васильевич Гоголь?

— М-м... Умер в пятьдесят втором, а родился, представьте, не помню.

— А в каком году Лев Толстой закончил свой капитальный роман «Война и мир»?

— Право, не скажу точно. Если прикинуть приблизительно...

— Нет, мне сейчас нужны точные ответы. А может, вы процитируете наизусть знаменитое место из статьи Добролюбова, где говорится, что Катерина — луч света в темном царстве?

— Да боже упаси,— вяло отмахнулся директор.

И Ольга Олеговна с прежней решительностью снова обратилась к Зое Владимировне:

— Мы с Иваном Игнатьевичем забыли дату рождения Гоголя, почему она должна остаться в памяти наших учеников? А ведь из таких сведений на восемьдесят, если не на все девяносто девять, процентов состоят те знания, которые вы, Зоя Владимировна, усиленно вбиваете. Вы и многие из нас... Эти сведения не каждый день нужны в жизни, а порой и совсем не нужны, потому и забываются. Девяносто девять процентов из того, что вы преподаете! Не кажется ли вам, что это гарантия будущего невежества?

У Зои Владимировны на увядшем лице проступили мученические морщинки.

— Я напрасно преподаю...— выдавила она с горловой спазмой.

— До недавнего времени и я так думала,— не спуская недобро тлеющих глаз, ответила Ольга Олеговна.

— Странно... Теперь не думаете?

— Теперь пришла к убеждению, что такое преподавание не проходит безнаказанно. И не только невежество его последствия.

Зоя Владимировна, напряженно вытянувшись, встречала прямой взгляд Ольги Олеговны — ждала.

— Преподносим неустойчивое, испаряющееся, причем в самой категорической, почти насильственной форме — знай во что бы то ни стало, отдай все время, все силы, забудь о своих интересах. Забудь то, на что ты больше всего способен. Получается: мы плодим невнимательных к себе людей. Ну, а если человек невнимателен к себе, то вряд ли он будет внимателен к другим. Сведения, которыми мы пичкаем школьника, улетучиваются, а тупая невнимательность остается. Вас это не страшит, Зоя Владимировна? Мне, признаться, не по себе.

У Зои Владимировны побелели тонкие губы.

— И на меня...— тихо, с внутренней дрожью.— Почему-то на одну меня — обличающим перстом, я больше всех виновата! А может, вы... вы все-таки виновнее? Вы же завуч, и много лет. Кому, как не вам, и карты в руки?

— Вы прекрасно знаете, какими картами мне приходится играть. У вас, Зоя Владимировна, козыри в руках покрупнее. Любые мои замечания вы с легкостью отбивали: мол, полностью придерживаюсь утвержденных учебных программ. С одной стороны — устаревшие программы, с другой — косные привычки самих преподавателей, а посередине — школьный завуч. Более беспомощной фигуры в нашей педагогике нет.

— Вы даже против программ! Вы хотите перевернуть обучение в стране? Не много ли вы хотите?

— Я просто хочу, чтоб учителя, с которыми я работаю, открыли глаза на опасность... Грозную опасность, Зоя Владимировна! Я ее и раньше чувствовала, но сейчас она для меня открылась с особенной отчетливостью. Так ли уж редко мы выпускаем людей ничем не интересующихся, ничем не увлеченных? Но должны же они занять чем-то себя, свой досуг. Хорошо, если станут убивать время безобидным забиванием козла, ну а если водкой... Мало ли мы слышим о пьяных подростках! Вспомните нашумевшее два года назад судебное дело. Три подгулявших сопляка семнадцати-восемнадцати лет среди бела дня на автобусной оста-

новке пырнули ножом женщину. Так просто, за косой взгляд, за недовольное слово — трое детей остались без матери.

Директор досадливо крякнул:

— Ну, знаете ли!

— Они же не с нашей улицы, из чужой школы. Вы это хотите сказать, Иван Игнатьевич?

— И на солнце бывают пятна. Не связывайте патологическое уродство с нашим обучением.

— А вы забыли, что в прошлом году уже нашего ученика Сергея Петухова милиция задержала в пьяном виде. Он не убивал, да! Но к водке-то потянулся! Почему? Семья испортила? Нет, семья хорошая: мать — врач, отец — инженер, оба уважаемые люди, в рот не берут спиртного. Товарищи дурные сбили с пути? Но эти товарищи, как оказалось, тоже бывшие ученики, их-то кто испортил? Был пьян, попал в милицию. Можно ли поручиться за пьяного недоросля, что он не совершит преступления?

Иван Игнатьевич ничего не ответил, смотрел в пол, сосредоточенно сопел. Нина Семеновна глядела на Ольгу Олеговну от дверей остановившимися глазами. Физик Павел Павлович хмурился и курил. На искалеченном шрамом лице математика Иннокентия Сергеевича подергивался живчик — верный признак, что взволнован.

Зоя Владимировна в общей тишине медленно-медленно поднялась со стула.

6

Юлечка Студёнцева выпила за Наткино счастье, и Натка не возразила, не фыркнула в ответ — приняла. А раз так, то стоит ли расстраиваться, что она, Натка, не поддержала его, Генки, тост. Просто, как всегда, показывает норов, дурит. Пусть себе...

И Генка освобожденно оглянулся.

Перед ним стояли товарищи. Все они родились в один год, в один день пришли в школу, из семнадцати прожитых лет десять знают друг друга — вечность! И Генка вспомнил щуплого мальчишку — большая ученическая фуражка, налезающая на острый нос, короткие штанишки, тонкие ноги с исцарапанными коленями. Это Игорь Проухов, начавший теперь уже обрастать бородой. Помнит, и хорошо, Сократа Онучина: мелкий вьюн, пискляв, шумен, совался постоянно под руку,

а в драках кусался. И Юлечку помнит, она, кажется, и не изменилась, даже подросла не очень — была серьезная, такой и осталась. А вот Натку, как ни странно, в те давние времена, в первый год учебы, Генка совсем не помнит. Веру Жерих тоже... Трудно поверить, что Натка долгое время могла не замечаться.

Перед Генкой стояли его товарищи, и только теперь он остро почувствовал, что скоро придется расставаться, иные люди войдут в его жизнь, иной станет сама жизнь. Какой?.. Кто знает эту тайну тайн. Сжимается сердце, но нет, не от страха. Генка привык, что все кругом его самого побаивались и уважали. Тайна тайн — в неизвестном-то и прячутся неведомые удачи. Странно, что Юлька Студёнцева — тоже ведь удачлива! — сегодня какая-то перекрученная. В попутчики вдруг навязывалась... Генка был благодарен Юлечке и жалел ее.

— Это хорошо же, хорошо!— заговорил он с силой.— Тысячи дорог! На какую-то все равно попадешь, промашки быть не может. Ни у тебя, Юлька, ни у меня, ни у Натки... Вот Игорю труднее — одну дорогу выбрал. Тут и промахнуться можно.

— Старичок! Без риска нет успеха! — отбил Игорь.

Юлечка с горячностью возразила:

— Даже если Игорь и промахнется... Тогда у него будет, как у нас, те же тысячи без одной дороги. Счастливый, как все. Он что-то не хочет такого счастья, и я не хочу! Хочу тоже рисковать!

— Человек — забыли, фратеры,— создан для счастья, как птица для полета! — провозгласил важно Сократ.— Лети себе куда несет.— Он забренчал: — Эх, по морям, морям, морям! Нынче здесь, а завтра — там... Вот так-то!

— Птица-то и против ветра летает,— напомнил Игорь.— А ты не птица, ты пушинка от одуванчика.

— Пушинки-то с семечком. Куда ни упадем — корни пустим...— Генка с хрустом потянулся.— И вы-рас-тем!

— На камни может семечко упасть,— напомнила Юлечка.

Натка молчала, как обычно, с невозмутимостью, застыв в отдыхающей позе — вся тяжесть литого тела покоится на одной ноге, рука брошена на бедро. Она лениво пошевелилась, лениво произнесла:

— Летать. Мыкаться. Лучше ждать.

Вера вздохнула:

— Тебе, Наточка, долго ждать не придется. Ты, как светлый фонарь, издалека видна, к тебе счастье само прилетит.

— Какие мы все разные! — удивилась Юлечка.

Сократ неожиданно с силой ударил по струнам, заголосил:

— За что вы Ваньку-то Морозова? Ведь он ни в чем не виноват!.. Праздник у нас или панихида, фратеры?

— И то и другое,— ответил Игорь.— Погребаем прошлое.

Вера Жерих снова шумно вздохнула:

— Скоро разлетимся. Знали друг друга до донышка, сроднились — и вдруг...

— А до донышка ли мы знали друг друга? — усомнился Игорь.

— Ты что?— удивилась Вера.— Десять лет вместе — и не до донышка.

— Ты все знаешь, что я о тебе думаю?

— Неужели плохое? Обо мне? Ты что?

— А тебе не случалось обо мне плохо подумать?.. Десять же лет вместе.

— Не случалось. Я ни о ком плохо...

— Завидую твоей святости, мадонна. Генка, ты мне друг,— я всегда был хорош для тебя?

Генка на секунду задумался:

— Не всегда.

— То-то и оно. В минуты жизни трудные чего не случается.

— В минуты трудные... А они были у нас?

— Верно! Даже трудных минут не было, а мысли бывали всякие.

Юлечка встрепенулась:

— Ребята! Девочки!.. Я очень, очень хочу знать... Я чувствовала, что вы все меня... Да, не любили в классе... Говорите прямо, прошу. И не надо жалеть и не стесняйтесь.

Глаза просящие, руки нервно мнут подол платья.

Генка сказал:

— А что, друзья мы или нет? Давайте расстанемся, чтоб ничего не было скрытого.

— Не выйдет,— заявил Игорь.

— Не выйдет, не додружили до откровенности?

— А если откровенность не понравится?..

— Ну, тогда грош цена нашей дружбе.

— Я, может, не захочу говорить, что думаю. Например, о тебе,— бросила Генке Натка.

— Что же, неволить нельзя.

— Кто не захочет говорить, тот должен встать и уйти! — объявила Юлечка.

— Об ушедших говорить не станем. Только в лицо! — предупредил Генка.

— А мне лично до лампочки, капайте на меня, умывайте, только на зуб не пробуйте.— Сократ Онучин провел пятерней по струнам.— Пи-ре-жи-ву!

— Мне не до лампочки! — резко бросила Юлечка.

— Мне, пожалуй, тоже,— признался Игорь.

— И мне...— произнесла тихо Вера.

— А я переживу и прощу, если скажете обо мне плохое,— сообщил Генка.

— Прощать придется всем.

— Я остаюсь,— решила Натка.

— Будешь говорить все до донышка и открытым текстом.

— Не учи меня, Геночка, как жить.

— С кого начнем? Кого первого на суд?

— С меня! — с вызовом предложила Юлечка.

— Давайте с Веры. Ты, Верка, паинька, с тебя легче взять разгон,— посоветовал Игорь.

— Ой, я боюсь первой!

— Можно с меня,— вызвался Генка.

— Фратеры! — завопил плачуще Сократ.— Мы же собрание открываем. Надоели и в школе собрания!

Эх, дайте собакам мяса,
Авось они подерутся!
Дайте похмельным кваса,
Авось они перебьются!

— Заткнись!.. Ничего не таить, ребята! Всем нараспашку!

— Собрание же, фратеры, с персональными делами! Это надолго! Вся ночь без веселья!

Генка встал перед скамьей:

— Господа присяжные заседатели, прошу занять свои места!

Генка нисколько не сомневался в себе — в школе его все любили, перед друзьями он свят и чист, пусть Натка услышит, что о нем думают.

7

Зоя Владимировна поднялась со своего места, иссушенно-плоская, негнущаяся, с откинутой назад седой головой, на посеревшем, сжатом в кулачок лице — мелкие, невнятно поблескивающие глаза.

— Вы против школы поднялись, Ольга Олеговна, а с меня начали. Не случайно, да, да, понимаю. И правы, трижды правы вы: та школа, которой вы так недовольны сейчас, та школа и я — одно целое. Всю школу, какая есть, вам крест-накрест перечеркнуть не удастся, а меня... Меня, похоже, не так уж и трудно...

Ольга Олеговна не перебивала и не шевелилась, сидела в углу, подавшись вперед, глазницы до краев залиты тенями. И шелестящий голос Зои Владимировны:

— Вы, наверно, помните Сенечку Лукина. Как не помнить — намозолил всем глаза, в каждом классе по два года отсиживал и всегда норовил на третий остаться. Только о нем и говорили, познаменитей Студёнцевой была фигура. Как я тащила этого Сенечку! За уши, за уши к книгам, к тетрадям, по два часа после уроков каждый день с ним. Подсчитать бы, какой кусок жизни Сенечка у меня вырвал. И сердилась на него и жалела... Да, да, жалела: как, думаю, такой бестолковый жизнь проживет? Двух слов не свяжет, трех слов без ошибки не напишет, страницу прочитает — пóтом обольется от натуги. Не закон бы о всеобщем обучении, выпихнули бы Сенечку из школы на улицу, а так с натугой большой вытянули до восьмого класса. И вот недавно встретила его... Узнал, как не узнать, улыбается от уха до уха, золотой зуб показывает, разговор завел: «Чтой-то у вас, Зоя Владимировна, пальтецо немодно, извиняюсь, сколько в месяц заколачиваете?.. Я ныне на тракторе, выходит, вдвое больше вас огребаю — мотоцикл имею, хочу дом построить...» Он же радовался, радовался, что не такой, как я! И правда, мне завидовать нечего. По шестнадцать часов в сутки работала год за годом, десятилетие за десятилетием, а что получила?.. Болезни да усталость. Ох как я устала! Нет достатка, нет покоя. И уважения тоже... Почтенная учительница, окруженная на старости лет любовью учеников только в кино бывает. Но, думалось, есть одно, чего отнять нельзя никакой силой, никому! — вера, что не зря жизнь прожила, пользу лю-

дям принесла, и немалую! Как-никак тысячи учеников прошли через мои руки, разума набрались. Считают, для человека самое страшное быть убитым. Но убийцы-то могут отнять только те дни, которые еще предстоит прожить, а прожитых дней и лет никак не отнимут, бессильны. Но вы, Ольга Олеговна, все прошлое у меня убить собираетесь, на всем крест ставите!

Ольга Олеговна не шевелилась — сплюснутые губы, немигающие, упрятанные в тень глаза.

— А если вас вот так, как вы меня, вместе со всем прошлым! — придушенно воскликнула Зоя Владимировна.— Поглядите на меня, поглядите внимательней! Вот перед вами стоит ваша судьба — морщинистая, усталая, педагогическая сивка, которую укатали крутые горки на долгой дороге. На меня похожи будете. Глядите — не ваш ли это портрет?

Зоя Владимировна судорожно стала искать в рукаве носовой платок, нашла, приложила к покрасневшим глазам.

— Последнее скажу: любила свою школу и люблю! Да! Ту, какая есть! Не представляю иной! Рассадник грамотности, рассадник знаний. И этой любви и гордости за школу никто, никто не отнимет! Нет!

Она еще раз приложила к глазам скомканный платочек, испустила прерывистый вздох, спрятала платок в узкий рукав.

— Будьте здоровы.

И двинулась к выходу, волоча ноги, узкая костистая спина перекошена.

И никто не посмел ее остановить, молча провожали глазами... Только Нина Семеновна, сидевшая у дверей, приподнялась со стула со смятенным и растерянным лицом, вытянувшись, пропустила старую учительницу.

8

На скамье — тесно в ряд все пятеро: Сократ с гитарой, Игорь, склонившийся вперед, опираясь локтями на колени, Вера с Наткой в обнимку, Юлечка в неловкой посадке на краешке скамьи.

И Генка перед ними — с улыбочкой, отставив ногу в сторону.

Если б он сел вместе со всеми, находился в общей куче — быть может, все получилось бы совсем иначе.

Он сам поставил себя против всех — им осуждать, ему оправдываться. А потому каждое слово звучало значительней, серьезней, а значит, ранимей. Но это открылось позднее, сейчас Генка стоял с улыбочкой, ждал. Новая игра не казалась ему рискованной.

Все поглядывали на Игоря, он умел говорить прямо, грубо, но так, что не обижались, он самый близкий друг Генки, кому, как не ему, первое слово. Но на этот раз Игорь проворчал:

— Я пас. Сперва послушаю.

И Сократ глупо ухмылялся, и Натка бесстрастно молчала, и Юлечка замороженно глядела в сторону.

— Я скажу,— вдруг вызвалась Вера Жерих.

Странно, однако,— Вера не из тех, кто прокладывает другим дорогу: всегда за чьей-то спиной, кого-то повторяет, кому-то поддакивает. Она решилась! — уселись поплотнее, приготовились слушать. Генка стоял, отставив ногу, и терпеливо улыбался.

— Геночка,— заговорила Вера, напустив серьезность на широкое щекастое лицо,— знаешь ли, что ты счастливчик?

— Ладно уж, не подмазывай патокой.

— Ой, Геночка, обожди... Начать с того, что ты счастливо родился — папа у тебя директор комбината, можно сказать, хозяин города. Ты когда-нибудь нуждался в чем, Геночка? Тебя мать ругала за порванное пальто, за стоптанные ботинки? Нужен тебе новый костюм — пожалуйста, велосипед старый не нравится — покупают другой. Счастливчик от роду.

— Так что же, за это я должен покаяться?

— И красив ты, и здоров, и умен, и характер хороший, потому что никому не завидуешь. Но... Не знаю уж, говорить ли все? Вдруг да обидишься.

— Говори. Стерплю.

— Так вот ты, Гена, черствый, как все счастливые люди.

— Да ну?

Генка почувствовал неловкость — пока легкую, недоуменную: ждал признаний, ждал похвал, готов был даже осадить, если кто перестарается — не подмазывай патокой,— а хвалить-то и не собираются. И нога в сторону и улыбочка на лице, право, не к месту. Но согнать эту неуместную улыбочку, оказывается, невозможно.

— Гони примерчики! — приказал он.

— Например, я вывихнула зимой ногу, лежала дома — ты пришел меня навестить? Нет.

— Вера, ты же у нас одна такая... любвеобильная. Не всем же на тебя походить.

— Ладно, на меня походить необязательно. Да разобраться — зачем я тебе? Всего-навсего в одном классе воздухом дышали, иногда вот так в компании сидели, умри я — слезу не выронишь. Меня тебе жалеть не стоит, а походить на меня неинтересно — ты и умней и самостоятельней. Но ты и на Игоря Проухова, скажем, не похож. Помнишь, Сократа мать выгнала на улицу?

— Уточним, старушка,— перебил Сократ.— Не выгнала, а сам ушел, отстаивая свои принципы.

— У кого ты ночевал тогда, Сократ?

— У Игоря. Он с меня создавал свой шедевр —портрет хиппи.

— А почему не у Гены? У него своя комната, диван свободный.

— Для меня там не совсем комфортабль.

— То-то, Сократик, не комфортабль. Трудно даже представить тебя Генкиным гостем. Тебя — нечесаного, немытого.

— Н-но! Прошу без выпадов!

— Ты же несчастненький, а там дом счастливых.

— Да что ты меня счастьем тычешь? Чем я тут виноват?

Генка продолжал улыбаться, но управлять улыбкой уже не мог — въелась в лицо, кривенькая, неискренняя, хоть провались. И все это видят — стоит напоказ. Он улыбался, а подымалась злость... На Веру. С чего она вдруг? Всегда услужить готова — и... завелась. Что с ней?

— Да, Геночка, да! Ты вроде и не виноват, что черствый. Но если вор от несчастной жизни ворует, его за это оправдывают? А?

— Ну, старушка забавница, ты сегодня даешь! — искренне удивился Сократ.

— Черствый потому, что полгода назад не навестил тебя, над твоей вывихнутой ногой не поплакал! Или потому, что Сократ не ко мне, а к Игорю ночевать сунулся! Ну, знаешь...

— А вспомни, Геночка, когда Славка Панюхин потерял деньги для похода...

— А не помнишь, кто выручил Славку? Может, ты?!

— Аг-га-а! Знала, что этот проданный велосипед нам напомнишь! Как же, велосипед загнал, не пожалел для товарища... Но ты сам вспомни-ка, как сначала-то ты к этому отнесся? Ты же выругал бедного Славку на чем свет стоит. А вот мы ни слова ему не сказали, мы все по рублику собирать стали, и только тогда уж до тебя дошло. Позже всех... Нет, я не говорю, Гена, что ты жадный, просто кожа у тебя немного толстовата. Тебе ничего не стоило сделать благородный жест — на, Славка, ничего не жаль, вот какая у меня широкая натура. Но только ты не последнее отдавал, Геночка. Тебе старый велосипед уже надоел, нужен был новый — гоночный...

И ударила кровь в голову, и въедливая улыбочка наконец-то слетела с лица. Генка шагнул на Веру:

— Ты!.. Очухайся! Эт-то свинство!

Вера не испугалась, а надулась, словно не она его — он обидел ее:

— Не нравится? Извини. Сам же хотел, чтоб до дна, чтоб все откровенно...

И замолчала.

Игорь серьезен, Сократ оживленно ерзает, Натка холодно-спокойна, откинулась на спинку скамьи рядом с надутой Верой — лицо в тени, маячат строгие брови.

— Ложь! — выкрикнул Генка.— До последнего слова ложь! Особенно о велосипеде!

И замолчал, так как на лицах ничего не отразилось — по-прежнему замкнуто-серьезен Игорь, беспокоен Сократ, спокойна Натка и надута Вера. Будто и не слышали его слов. Как докажешь, что хотел спасти Славку, жалел его? Даже велосипед не доказательство! Молчат. И как раздетый перед всеми.

— Кончим эту канитель, ребята,— вяло произнес Игорь.— Переругаемся.

Кончить? Разойтись? После того, как оболгали! Натка верит, Игорь верит, а сама Верка надута. И настороженно, выжидающе блестят с бледного лица глаза Юлечки Студёнцевой... Кончить на этом, согласиться с ложью, остаться оплеванным! И кем? Верой Жерих!

— Нет! — выдавил Генка сквозь стиснутые зубы.— Уж нет... Не кончим!

Игорь кашлянул недовольно, проговорил в сторону:

— Тогда уговоримся — не лезть в бутылку. Пусть каждый говорит что думает — его право, терпи.

— Я больше не скажу ни слова!— обиженно заявила Вера.

Генку передернуло: наговорила пакости — и больше ни слова. Но никто этим и не думает возмущаться — Игорь сумрачно-серьезен, Натка спокойна. И терпи, не лезь в бутылку...

Генка до сих пор жил победно —никому не уступал, не знал поражений, себя даже и защищать не приходилось, защищал других. И вот перед Верой Жерих, которая и за себя-то постоять не могла, всегда прибивалась к кому-то, он, Генка, беспомощен. И все глядят на него с любопытством, но без сочувствия. Словно раздетый — неловко, хоть провались!

— Можно мне? — Юлечка по школьной привычке подняла руку.

Генка повернулся к ней с надеждой и страхом — так нужна ему сейчас поддержка!

— Не навестил больную, не пригласил ночевать бездомного Сократа, старый велосипед... Какая все это мелочная чушь!

Серьезное, бледное лицо, панически блестящие глаза на нем. Так нужно слово помощи! Он, Генка, скажет о Юлечке только хорошее — ее тоже в классе считали черствой, никто ее не понимал — зубрилка, моль книжная. Каково ей было терпеть это! Генка даже ужаснулся про себя — он всего минуту сейчас терпит несправедливость, Юлечка терпела чуть ли не все десять лет!

— Я верю, верю — ты, Гена, не откажешь в ночлеге и велосипед ради товарища не пожалеешь...— Блестящие глаза в упор.— Даже рубаху последнюю отдашь. Верю! А когда бьют кого-то, разве ты не бросаешься спасать? Ты можешь даже жизнью жертвовать. Но... Но ради чего? Только ради одного, Гена: жизни не пожалеешь, чтоб красивым стать. Да! А вот прокаженного, к примеру, ты бы не только не стал лечить, как Альберт Швейцер, но через дорогу не перевел бы — побрезговал. И просто несчастного ты не поддержишь, потому что возня с ним и никто этому аплодировать не будет. От черствости это?.. Нет! Тут серьезнее. Рубаха, велосипед, жизнь на кон — не для кого-то, а для самого себя. Себя чувствуешь смелым, себя — благородным! Ты так себе нравиться любишь, что о других забываешь. Не черствость тут, а похуже — себялюбие! Черствого каждый разглядит, а себялюбца нет, потому что он только о том и

старается, чтоб хорошим выглядеть. А как раз в тяжелую минуту себялюбец-то и подведет. Щедрость его не настоящая, благородство наигранное, красота фальшивая, вроде румян и пудры... Ты светлячок, Гена,— красиво горишь, а греть не греешь.

Юлечка опустила веки, потушив глаза, замолчала. И лицо ее сразу — усталое, безразличное.

— Это ты за то... отказался в Москву с тобой?..— с трудом выдавил Генка.

— Думай так. Мне уже все равно.

Генка затравленно повел подбородком. Перед ним сидели друзья. Других более близких друзей у него не было. И они, близкие, с детства знакомые, оказывается, думают о нем вовсе не хорошо, словно он враг.

Он взял себя в руки, придушенно спросил:

— Ты это раньше... что я светлячок? Или только сейчас в голову пришло?

— Давно поняла.

— Так как же ты... в Москву?..

— За светлячком можно в чащу лезть сломя голову, за себялюбцем в Сибирь ехать, не только в Москву. Тут уж с собой ничего не поделаешь,— не подымая глаз, тихо ответила Юлечка.

Ночь напирала на обрыв. От нее веяло речной сыростью. Перед всеми как раздетый... Светлячок, надо же!

Чтоб только не растягивать мучительную тишину, Генка хрипло попросил:

— Игорь, давай ты.

— Может, кончим все-таки. Врагами же расстанемся.

— Спасаешь, благодетель?

— Что-то мне неохота ковыряться в тебе, старик.

— Режь, не увиливай.

— Н-да-а.

Игорь Проухов... С ним Генка сидел на одной парте, его защищал в ребячьих потасовках. Как часто они лежали на рыбалках у ночных костров, говорили друг другу самое сокровенное. Много спорили, часто не соглашались, бывало, сердились, ругались даже, но никогда дело не доходило до вражды. Игорь не Юлечка Студёнцева. Вот если б Игорь понял, как трудно ему, Генке, сейчас: дураком выглядит, без вины оболган, заклеймен даже — светлячок, надо же... Если б Игорь понял и сказал доброе слово, отбрил Веру, возразил Юльке — а

Игорь может, ему нетрудно,— то все сразу бы встало на свои места.

Но просить при всех о помощи, сознаваться, что слаб, Генка не мог, а потому произнес почти с угрозой:

— Режь! Только учти, я тебя тоже жалеть не стану.

Эх, если б Игорь понял, не поверил угрозе, мир остался бы прежним, где дружба свята, правда торжествует, а ложь наказывается...

Но Игорь поскреб небритый подбородок, не глядя Генке в глаза, угрюмо сказал:

— Не пожалеешь?.. Само собой. Что ж...

9

За Зоей Владимировной закрылась дверь. С минуту никто не шевелился.

Скрипнул стул под Иваном Игнатьевичем, директор решительно поднялся, грудью повернулся к Ольге Олеговне, насупленно-строгий и замкнутый:

— Не кажется ли вам, что вы сейчас обидели человека? Сильно обидели и незаслуженно!

У Ольги Олеговны немигающие, широко открытые глаза, но неподвижное лицо все равно кажется каким-то слепым. Тяжелая копна вознесенных волос и расправленные плечи.

— Мне очень жаль, что так получилось.— Голос сухой, без выражения.

— Не сочтите за труд извиниться перед ней.

Иван Игнатьевич редко сердился, но когда сердился, всегда становился церемонно-вежливым: «Не сочтите за труд... Смею надеяться... Позвольте рассчитывать...»

— Извиниться? За что?

Неподвижное лицо Ольги Олеговны ожило, взгляд вновь стал подозрительно-настороженным.

— Вы только что, любезная Ольга Олеговна, сказали, позвольте напомнить: «Мне очень жаль, что так получилось». Надеюсь, сожаление искреннее. Так сделайте же следующий шаг — извинитесь!

— Мне жаль... Наверное, как и каждому из нас. Жаль, что у Зои Владимировны долгая жизнь оканчивается разбитым корытом.

— Разрешу себе заметить: разбитое корыто — довольно рискованное выражение.

— А разве она сейчас сама не призналась в этом?

— Не станете же нас уверять, уважаемая Ольга Олеговна, что долгая жизнь Зои Владимировны не принесла никакой пользы?

— Пользы?.. Сорок лет она преподает: Гоголь родился в таком-то году, Евгений Онегин — представитель лишних людей, Катерина из «Грозы» — луч света в темном царстве. Сорок лет одни и те же готовые формулы. Вся литература — набор сухих формул, которые нельзя ни любить, ни ненавидеть. Не волнующая литература — вдумайтесь! Это такая же бессмыслица, как, скажем, не греющая печь, не светящий фонарь. Получается: сорок лет Зоя Владимировна обессмысливала литературу. Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов глаголом жгли сердца людей. По всему миру люди горят их пламенем — любят, ненавидят, страдают, восторгаются. И вот зажигающие глаголы попали в добросовестные, но, право же, холодные руки Зои Владимировны... Сорок лет! У скольких тысяч учеников за это время она отняла драгоценный огонь! Украла способность волноваться! Вы в этом видите пользу, Иван Игнатьевич?!

Иван Игнатьевич сердито засопел, спрятал глаза за кустистыми пшеничными бровями.

— Но она еще была преподавателем и русского языка, научила тысячи детей грамотно писать. Хоть тут-то признайте, что это немалая заслуга.

— Научить правильно писать слово — и отучить его любить. Это все равно что внушать понятия высокой морали и вызывать к ним чувство безразличия.

— Странный вы человек, Ольга Олеговна,— огорченно произнес Иван Игнатьевич.— Вдруг взорвались — готовы крушить и проламывать головы только потому, что девочка-выпускница задела вас за живое.

— Вдруг?.. Неужели для вас выступление Студёнцевой неожиданность?

— Да уж признаюсь: от любого и каждого ждал коленца, только не от нее.

— И вы считали, что у нас в школе все идеально, не нужно освобождаться от старых навыков?

— Положим, не все идеально и от каких-то привычек нам придется освобождаться.

— Но тогда придется освободиться и от тех, кто безнадежно увяз в этих старых привычках.

— Освободиться от Зои Владимировны?.. Немедленно? Или можно подождать немного, хотя бы того не столь далекого дня, когда она сама решит оставить школу?

— Недалекого дня? А когда он наступит? Через год, через два, а может, через пять лет?.. За это время сотни учеников пройдут через ее руки. Я преклоняюсь перед вашей добротой, Иван Игнатьевич, но тут она, похоже, дорого обойдется людям.

Иван Игнатьевич, опустив борцовские плечи, недовольно разглядывал Ольгу Олеговну.

— Мне кажется, вы собираетесь выправить накренившуюся лодку, черпая решетом воду,— сказал он с досадой.

— То есть?

— То есть мы освободимся от Зои Владимировны, а на ее место придет молодой учитель, только что окончивший наш областной пединститут. И вы рассчитываете, что он-то непременно будет горящим. Вам ли не известно, что в областной пединститут, увы, идут те, кто не сумел попасть в другие институты. Десять против одного, что на смену Зое Владимировне придет неспособный раздувать святой огонь Пушкина и Толстого. Не рассчитывайте на Прометеев, дорогая Ольга Олеговна.

Ольга Олеговна не успела ответить, как по учительской прокатился глуховатый басок:

— Зоя Владимировна опасна больше других? Сомневаюсь.

Директор шумно повернулся, Ольга Олеговна подобралась: подал голос учитель физики Решников.

— Что ты хочешь этим сказать, Павел? — спросила Ольга Олеговна.

— Хочу сказать: врачу — излечися сам!

— Ты считаешь, что я?..

— Да.

— Зои Владимировны?..

— В какой-то степени.

— Объясни.

И Решников поднялся, нескладно высокий, крепко костистый, с апостольским пушком над сияющим черепом, лицо темное, азиатски-скуластое, плоское, как глиняная чаша.

10

Игорь Проухов сидел на скамье и целился твердым носом в Генку — всклокоченная шевелюра, светлое чело, темный подбородок.

— Тебя тут по-девичьи щипали. Вот Юлька сказала: прокаженного через дорогу не переведет, для себя горит, не для других. А кто из нас в костер бросится, чтоб другому тепло было?

— Может, я брошусь,— отозвалась Юлечка.

— Готов встать перед тобой на колени... За негорючесть я тебя, старик, не осуждаю. Считаю: если уж гореть до пепла, то ради всего человечества. Почему я, он или кто другой должен собой жертвовать ради кого-то одного, хотя бы тебя, Юлька? Что ты за богиня, чтоб тебе — человеческие жертвоприношения?

— А я не жертв вовсе, я отзывчивости хочу. За отзывчивость, даже чуточную, я сама собой пожертвую.

— Э-э! — отмахнулся Игорь.— Сама хоть с крыши вниз головой, лишь бы вовремя схватили, не то ушибиться можно. Верка лучше Генку нащупала: баловень судьбы, любое дается легко.

— Уж и любое,— усмехнулась молчавшая Натка.

Генка вздрогнул, кинул на Натку затравленный взгляд.

— Допускаю исключения,— с едва проступившей улыбочкой согласился Игорь.

И Генка вскипел:

— Красуешься, философ копеечный! Хватит. По делу говори!

И призрачная улыбочка исчезла с лица Игоря.

— Может, не стоит все-таки по делу-то? А?.. Оно не очень красивое.

— Нет уж, начал — говори!

— Дело прошлое, я простил тебя — ворошить не хочется.

— Простил? Нужно мне твое прощение!

— Тебе не нужно, так мне нужно. Как-никак много лет дружили... Догадываешься, о чем я хочу?..

— Не догадываюсь и ломать голову не стану. Сам скажешь.

— Учти, старик, ты сам настаиваешь.

— Цену себе набиваешь!

— Ладно. Почему не уважить старого друга... По-

чтеннейшая публика, мы с ним часто играли в диспуты, и вы нам за это щедро платили — своим умилением...

— Хватит кривляться, шимпанзе!

— Мой друг бывает очень груб, извиним его. Грубость баловня судьбы: я, мол, не чета другим, я сверхчеловек, сильная личность, а потому на дух не выношу тех, кто хоть чуть стал поперек...

— Сам ярлыки клеишь, обзываешься, как баба в очереди, а еще обижаешься — груб, извиним!

— Мы обычно спорим на публику, но однажды схлестнулись с глазу на глаз. Он стал свысока судить о моих картинах, а я сказал, что его вкусы ничем не отличаются от вкусов какого-нибудь Петра Сидорыча, который не морщится от кислой банальности. И, представьте, он согласился: «Да, я — Петр Сидорыч, рядовой зритель, то есть народ, а ты, мазилка, антинароден». Я засмеялся и сказал, что преподнесу ему на день рождения народную картину — лебедей на закате, и непременно с надписью: «Ково люблю — тово дарю!» Он надулся и, казалось, ничего особенного, все осталось как было— ходили по школе в обнимочку.

— Вот ты о чем!.. О выступлении...

— Да, о том. Должна была открыться выставка школьного рисунка. Не у нас — в областном Доме народного творчества. Событие! С этой выставки лучшие работы должны поехать в Москву. Хотелось мне попасть на эту выставку или нет?.. Хотелось! И он это знал. Но... Но выступил на комитете комсомола... Что ты там сказал обо мне, Генка?

— Сказал что думал. Хвалить я тебя должен, если у меня с души прет от твоих работ?

— Но при этом ты ходил со мной в обнимочку, показательно спорил, играл в волейбол... И ни слова мне! За моей спиной...

— А что я мог тебе сказать, если и сам не знал, о чем пойдет речь на комитете...

— За моей спиной ты продал меня!

— Я говорил только то, что раньше... Тебе! В глаза!

— Нет, мне передали: ты даже растленность мне вклеил... В глаза-то говорил пообкатанней, боялся — отобью мяч в твои же ворота.

— А тебе не передали, что я талантливым тебя называл?

— Вот именно, чтоб легче подставить ножку... Ходил в обнимочку, а за пазухой нож держал, ждал случая в спину вонзить.

С минуту Генка ошеломленно таращил глаза на Игоря, а тот целился в него носом — отчужденно-спокоен.

— Ты-ы!..

Игорь пожал плечами:

— Сам просил — я не набивался.

— Ты-ы!.. Ты-ы меня!.. Носил за пазухой!..

— Сказал факты, а вывод пусть делают другие.

Генка, сжав кулаки, шагнул на Игоря:

— Я те-бе!..

Игорь распрямился, выставил темный подбородок.

— Давай,— тихо попросил он.— Ты же самбист, научен суставы выворачивать.

Генка остановился, хрипло выдохнул:

— Сволочь ты!

— Я сволочь, ты святой. Кончим на этом. Аминь.

— И правда кончим,— откликнулась Вера с жалобно округлившимися глазами.— Господи! Если б я знала...

— А ты ждала, что я все съем!

— Пусть меня лучше, не надо его больше, ребята. Пусть лучше меня!..— Вера всхлипнула.

— Пожалела. Спасибо большое! Только я не нуждаюсь в жалости! Давайте, давайте до конца! Все раскройтесь, чтоб я видел, какие вы... Сократ, валяй! Ну! Твоя очередь!

Генка кричал и дергался, а Сократ, как ребенка, прижимал к животу гитару.

— Я бы лучше вам спел, фратеры.

— Тут на другие песни настроились, разве не видишь? Не порти хор.

— А я что, Генка... У нас с тобой полный лояль.

— Не бойся, его не ударил и тебя бить не стану. Дави!

— Для меня ты плохого никогда... Конечно, что я тебе: Сократ — лабух, Сократ Онучин — бесплатное приложение к гитаре. А кто из вас, чуваки, относится с серьезным вниманием к Сократу Онучину? Да для всех я смешная ошибка своей мамы. У нас же праздник, фратеры. Мы должны сегодня петь и смеяться, как дети.

Эх, дайте собакам мяса,
Авось они подерутся!..

— Моя очередь.

Натка не спеша разогнулась, твердые груди проступили под тонким платьем, блуждающая улыбочка на полных губах, под ресницами — убийственно покойная влага глаз.

Никому сейчас не до улыбок. Генка замер с перекошенными плечами...

11

Двадцать с лишним лет назад они пришли в школу — трое педагогов со студенческой скамьи, два парня с колодками орденов и медалей на лацканах поношенных пиджаков и девица с копной волос, с изумленно распахнутыми глазами. Школа встретила их по-разному.

Иннокентия Сергеевича — уважительно. Раненный под Белгородом, он слишком наглядно носил на себе след войны — пугающий лиловый шрам на лице, и в то же время он не кичился фронтовым прошлым, не требовал привилегий, держался скромно, преподавал толково, о нем сразу же установилось прочное мнение — надежный работник, образец для подражания.

Павел Павлович Решников, тоже фронтовик, трижды раненный, награжденный орденами, с ходу вошел в конфликт со школой. Он считал, что школьные программы по физике устарели — нельзя преподавать лишь законы Ньютона, когда современная наука живет открытиями Эйнштейна,— начал преподавать по-своему. Отальных преподавателей тогда вполне устраивали привычные программы, все они были старше Решникова, а потому резонно замечали, что яйца курицу не учат, на экзаменах с пристрастием спрашивали с учеников не то, чему их учил Павел Павлович. До полного разрыва со школой у него не дошло, он по-прежнему преподавал физику не строго по программам и не по учебникам, но делал это уже осторожно — инспекторские проверки никогда не заставали его врасплох, его ученики достаточно хорошо знали программный материал. Сам же Павел Павлович являлся в школу, чтоб дать уроки и исчезнуть. Ни с кем из учителей он не сходился, не вступал в споры, не навязывал своих взглядов. Его кто-то назвал однажды — вечный гастролер. На это он спокойно возразил: «Смотря для кого. Ученики меня так не назовут». У Павла Павловича среди учеников всегда были избранни-

ки, которых он приглашал даже к себе на дом, снабжал книгами.

Ольгу Олеговну школа сначала встретила равнодушно — молодой преподаватель истории, ничем, собственно, не выделяющийся. Она выделилась не преподаванием, не педагогическим мастерством, а неукротимым правдолюбием. Ольга Олеговна могла во всеуслышанье произнести то, о чем все осмеливались лишь шептаться по углам, заклеймить подхалимов, обличить зарвавшихся, не считаясь ни с их властью, ни с их авторитетом. Она всегда шла напролом — пан или пропал — и почти всегда выходила победителем. В школе менялись директора, Ольга Олеговна оставалась бессменным завучем вот уже пятнадцать лет.

Она часто упрекала Решникова «за отшельничество», но уважала его за преданность своей науке. Науке, а не предмету — физике! Она сама давно уже не скрывала недовольства существующими учебными программами. Решников и Ольга Олеговна скорей были единомышленниками, врагами же — никогда! И вот сейчас Решников поднялся, чтобы выступить против нее.

— Объясни.

Из-под сияющего лба Решников внимательно и долго вглядывался в Ольгу Олеговну, сидящую с вызывающе вскинутой головой.

— Тут ты вся: зовешь — делай, и не замечаешь, что уже делается. Кричишь — вперед! И хватаешь за полу — стой, не смей шевелиться!

— Не говори шарадами, Павел.

— Хочу сказать, что я много лет стараюсь развивать увлечения своих учеников, а ты меня постоянно одергивала: пестуешь любимчиков!

— Я и сейчас против, чтоб кто-либо из педагогов выделял любимчиков. И какая тут связь с увлечением?

— Прямая.

— Не вижу.

— Я люблю свою науку, мечтаю подарить ей талантливых ученых. Надеюсь, что ты не собираешься тут меня осуждать?

— Нет.

— Но тогда можно ли меня судить, что я прохладен к тем, кто, мягко выражаясь, от природы не даровит к физике, не любит ее?

— Наверное, нельзя.

— Вот именно, как нельзя упрекать меня и за то, что я пристрастен к тем ученикам, в которых природа вложила способность увлекаться физикой. И чем больше ученик увлечен, тем сильней он должен мне нравиться. Естественно это или нет, Ольга Олеговна?

Ольга Олеговна помолчала секунду, тряхнула волосами:

— Естественно!

— Но нужно ли скрывать мне это естественное чувство, делать вид, что для меня все ученики одинаковы, ничем друг от друга не отличаются?

На этот раз Ольга Олеговна не ответила.

— Делать вид — не отличаются и стараться не отличать неспособных от способных, равнодушных от увлекающихся. Да как же мне после этого развивать увлечение, за которое ты так горячо ратуешь? Но если я начну отличать, а значит, и выделять одних перед другими, ты же первая меня попрекнешь — любимчиков пестуешь? И ты, право, недалека от истины: да, я каких-то люблю больше, каких-то меньше. Люблю потому, что они надежда той науки, преподаванию которой я посвятил жизнь, люблю потому, что рассчитываю — с моей помощью они могут стать чрезвычайно ценными членами общества.

— Ну, а как быть с остальными?..— спросила Ольга Олеговна.— С теми, Павел, кто не оказался достойным твоей любви?

— Я им стараюсь дать общее понятие о физике. Не больше того.

— Они для тебя второй сорт люди, парии. Не так ли?

— Э-э нет! Я никак не исключаю, что среди них могут быть не менее, а еще более талантливые натуры. Но уже не в моей области. Лицеист Пушкин, увы, был зауряден в математике, наверное, и в физике тоже, если б ее преподавали в Царскосельском лицее. Представь, что я стану развивать природные способности нового Пушкина, я, не сведущий в поэзии, не чувствующий ее. Нет, пусть им занимаются другие, иначе загублю драгоценный талант.

Ольга Олеговна склонила к столу отягощенную волосами голову.

— Хорошо, Павел, согласимся, что тут ты прав. Но разве эта моя вина столь велика, что дает тебе право говорить — я опаснее Зои Владимировны?

Решников досадливо крякнул:

— Зоя Владимировна своего огня не раздует, но и моего не потушит. А ты можешь потушить.

— Что бы ты хотел от меня?

— Одного — не мешай мне возделывать свой сад.

— Каждый должен возделывать свой сад? И только?..

— Да. Без помех!

— В одиночку?

— Если я в своем труде рассчитываю на кого-то, я или плохой работник, или просто-напросто лодырь.

Сидевший рядом с Решниковым Иннокентий Сергеевич повернул к нему асимметричное суровое лицо.

— Ты так сердито разругал сейчас Ольгу и так жалко посоветовал,— произнес он.

— Это все, что я знаю.

— Теперь все делается коллективно,— все! — от канцелярских скрепок до космических ракет. А ты нам предлагаешь убого-единоличное — пусть каждый возделывает свой сад.

— Всю жизнь я единолично справлялся со своими обязанностями. Всю жизнь мне лезли помогать — и большей частью только мешали.

— Ремесленник-одиночка, оглянись кругом — ты последний из своего племени! Все твои собратья остались где-то в позднем средневековье. Прикажешь миру вернуться вспять? Не выйдет, Павел.

У Иннокентия Сергеевича под глазом, выше рваной скулы, подергивался живчик.

12

Натка, неприступно-прямая на скамейке, глядела мимо Генки влажными глазами.

— Гена-а...— с ленивенькой растяжечкой, нутряным, обволакивающим голосом.— Что тут только не наговорили про тебя, бедненький! Даже пугали — нож в спину можешь. Вот как! Не верь никому — ты очень чистый, Гена, насквозь, до стерильности. Варился в прокипяченной семейной водичке, куда боялись положить даже щепоточку соли. Нож в спину — где уж.

— Нат-ка! Не издевайся, прошу.

— А я серьезно, Геночка, серьезно. Никто тебя не знает, все видят тебя снаружи, а внутрь не залезают.

Удивляются тебе: любого мужика через голову бросить можешь — страшен, берегись, в землю вобьешь. И не понимают, что ты паинька, сладенькое любишь, но мамы боишься, без спросу в сахарницу не залезешь.

— О чем ты, Натка?

— О тебе, только о тебе. Ни о чем больше. Целый год ты меня каждый вечер до дому провожал, но даже поцеловать не осмелился. И на такого паиньку наговаривают — нож в спину! Защитить хочу.

— Нат-ка! Зачем так?..— Генка прятал глаза, говорил хрипло, в землю.

— Не веришь мне, что защищаю?

— Издеваешься... Они — пусть что хотят, а тебя прошу...

— Они — пусть?! — У Натки остерегающе мерцали под ресницами влажные глаза.— Я — не смей?.. А может, мне обидно за тебя, Генка,— обливают растворчиком, а ты утираешься. И потому еще обидно, что сами-то обмирают перед тобой: такой-рассякой, черствый, себялюбец негреющий, а шею подставить готовы — накинь веревочку, веди Москву завоевывать.

— Злая ты, Натка,— без возмущения произнесла Юлечка.

— А ты?..— обернулась к ней Натка.— Ты добрей меня? Ты можешь травить медвежонка, а мне нельзя?

— Травить?! Нат-ка! Зачем?!

Натка сидела перед Генкой прямая, под чеканными бровями темные увлажненные глаза.

— Затем, что стоишь того,— жестким голосом.— И так тебя и эдак пихают, а ты песочек уминаешь перед скамеечкой. Чего тогда с тобой и церемониться. Трусоват был Ваня бедный... Зато чистенький-чистенький, без щепоточки соли. Одно остается — подержать во рту да выплюнуть.

Натка отвернулась.

В листве молодых лип равнодушно горели матовые фонари. На поросший неопрятной травою рваный край обрывистого берега напирала упругая ночь, кой-где проколотая шевелящимися звездами. Ночь все так же пахла влагой и травами. И лежал внизу город —россыпь огней, тающих в мутном мареве. Искрящаяся галактика, окутанная житейским шумом: кто-то смеялся среди огней, где-то надрывно кричала радиола, тарахтел мотоцикл.

— Жалкий ты, Генка,— безжалостно сказала Натка в сторону.

И Генка дернул головой, точно его ударили в лицо.

— Н-ну, Натка!.. Ну-у!..— из горла хриплое.

13

Он был одним из самых благополучных учителей школы. Уж он-то возделывал свой сад с примерным усердием.

Иннокентий Сергеевич подымал к Решникову свое суровое, шрамом стянутое на одну сторону лицо.

— Ты-то должен знать, что ремесленники повымерли не случайно,— говорил он неторопливым глуховатым голосом.— Люди бродили бы по миру нагие и голодные, если б сейчас каждый ковырял в одиночку свой сад дедовской мотыгой.

— Почему обязательно мотыгой? — невозмутимо возразил Решников.— Я лично пользуюсь всем тем, что предлагает современная педагогика. И смею думать, что сверх того кое-что сам изобретаю.

— Может, ты изобрел паровую машину и тайком ею пользуешься в своем единоличном садике?

— Не нуждаюсь ни в какой машине.

— То-то и оно, все нуждаются в машинах, все — от доярки до ученого-экспериментатора, а вот нам с тобой хватает классной доски, куска мела и тряпки. Мы с тобой вооружены, как был вооружен дедушка педагогики Ян Амос Коменский триста лет тому назад. И пытаемся поспеть за двадцатым веком. Удивительно ли, что нам приходится надрываться. Все работают по семь часов в сутки, мы — по двенадцать, по шестнадцать, а результаты?..

Решников снисходительно усмехнулся:

— Увы, еще не изобретены машины для производства духовных ценностей, скажем, для произведений живописи, литературы, музыки, равно как и для передачи знаний.

Иннокентий Сергеевич дернул искалеченной щекой:

— А разреши спросить тебя, глашатай физики: открытие Галилеем спутников Юпитера — духовная ценность для человечества или нет?

Решников нахмурился и ничего не ответил.

— Молчишь? Знаешь, что эту духовную ценность Га-

лилей добыл с помощью механизма под названием телескоп. А синхрофазотроны, которыми пользуются нынче твои собратья физики, разве не специально созданные машины? Эге! Еще какие сложные и дорогостоящие. Ими ведь не картошку копают, не чугун выплавляют. Знания давно уже добываются с помощью машин, а вот передаются они почему-то до сих пор, так сказать, вручную.

— Может, ты даже представляешь, как выглядит та паровая машина, на которую собираешься посадить педагогов? — спросил Решников.

— Предполагаю.

— А ну-ка, ну-ка.

— Будем исходить из существующего ремесленничества — миллионы учителей по стране преподают одни и те же знания по математике, по физике, по прочим наукам. Одни и те же, но каждый своими силами, на свой лад. Как в старину от умения отдельного кустаря-сапожника зависело качество сапог, так теперь от учителя зависит качество знаний, получаемых учеником. Попадет ученик к толковому преподавателю — повезло, попадет к бестолковому — выскочит из школы недоучкой. Вдуматься — лотерея. А не лучше ли из этих миллионов отобрать самых умных, самых талантливых и зафиксировать их преподавание хотя бы на киноленте. Тогда исчезнет для ученика опасность попасть к плохому учителю, все получают знания по одному высокому стандарту...

— Стоп! — перебил Решников.— По стандарту!.. Бездушная кинолента, выдающая всем одинаковую порцию знаний... Да ведь мы с тобой только тем и занимаемся, что стараемся приноровиться к каждому в отдельности ученику — один усваивает быстрей, другой медленней, третий совсем не тянет. Да что там говорить, обучать живых, нестандартных людей может только живой, нестандартный человек.

И снова Иннокентий Сергеевич дернул щекой.

— Заменить тебя кинолентой?.. Да боже упаси! Хочу лишь снять часть твоего труда. Однообразного труда, Павел. Тебе уже не придется по нескольку раз в каждом классе втолковывать то, что ты втолковывал в прошлом году, в позапрошлом, три и четыре года назад. Стандартная кинолента даст тебе время... Вре-мя, Павел! Чтоб ты мог нестандартно, творчески заниматься учениками —

способным преподавал сверх стандартной нормы, неспособных подтягивал до стандарта. Тебе остается лишь тонкая работа — доводка и шлифовка каждого человека в отдельности. Каждого!

— Все-таки топчи дорогу своими ногами. Может, ты предлагаешь не локомотив, а просто посошок для облегчения моих натруженных ног?

— А ты хотел бы такой локомотив, который бы полностью устранил тебя?

— Зачем мне тогда и жить на свете,— отмахнулся Решников.

— То-то и оно, нет еще машины, которая исключала бы человека. И будет ли?

— О чем вы спорите?! — выкрикнула забытая Ольга Олеговна.— Как преподнести знания — механизированным или немеханизированным путем! Юлия Студёнцева до ноздрей нами набита этими знаниями, а тем не менее... Снова мне, что ли, повторять: у нас часто формируются люди без человеческих устремлений! А раз нет человеческого, то животное прет наружу вплоть до звериности, как у тех парней, что ножом женщину на автобусной остановке... В локомотиве спасение — да смешно! Машиной передавать человеческие качества!..

Решников удовлетворенно хмыкнул:

— Вот и вернулись на круги своя: я человек, что-то любящий, что-то презирающий в мире сем, я передаю свое ученикам, вы — свое, пусть каждый мотыжит свой сад... Если мне вместо мотыги предложат сподручный трактор, я, пожалуй, не откажусь, но детей трактору не доверю.

Иннокентий Сергеевич с минуту молчал — странное, неподвижное лицо, одна его половина разительно не походит на другую,— затем обронил холодно и спокойно:

— Не доверю?.. А самим себе мы доверяем?..

14

Пять человек на скамье под фонарями, тесно друг к другу, и Генка нависает над ними.

— До донышка! Правдивы!.. Ты сказала — я черств. Ты — я светлячок-себялюбец. Ты — в предатели меня, нож в спину... А ты, Натка... Ты и совсем меня — даже предателем не могу, жалкий трус, тряпка! До до-

нышка... Но почему у вас донышки разные? Не накладываются! Кто прав? Кому из вас верить?.. Лгали! Все лгали! Зачем?! Что я вам плохого сделал? Тебе! Тебе, Натка!.. Да просто так, воспользовались случаем — можно оболгать. И с радостью, и с радостью!.. Вот вы какие! Не знал... Раскрылись... Всех теперь, всех вас увидел! Насквозь!..

Накаленный Генкин голос. А ночь дышала речной влагой и запахами вызревающих трав. И густой воздух был вкрадчиво теплым. И листва молодых лип, окружающая фонари, казалось, сама истекала призрачно-потусторонним светом. Никто этого не замечал. Подавшись всем телом вперед, с искаженным лицом надрывался Генка, а пять человек, тесно сидящих на скамье, окаменело его слушали.

— Тебя копнуть до донышка! — Генка ткнул в сторону Веры Жерих.— Добра, очень добра, живешь да оглядываешься, как бы свою доброту всем показать. Кто насморк схватит, ты уже со всех ног к нему — готова из-под носа мокроту подтирать, чтоб все видели, какая ты благодетельница. Зачем тебе это? Да затем, что ничем другим удивить не можешь. Ты умна? Ты красива? Характера настойчивого? Шарь не шарь — пусто. А пустоту-то показной добротой покрыть можно. И выходит — доброта у тебя для маскировки!

Вера ошалело глядела на Генку круглыми, как пуговицы, глазами, и ее широкое лицо, казалось, покрылось гусиной кожей. Она пошевелилась, хотела что-то сказать, но лишь со всхлипом втянула воздух, из пуговично-неподвижных глаз выкатились на посеревшие щеки две слезинки.

— Ха! Плачешь! Чем другим защитить себя? Одно спасение — пролью-ка слезы. Не разжалобишь! Я еще не все сказал, еще до донышка твоего не добрался. У тебя на донышке-то не так уж пусто. Куча зависти там лежит. Ты вот с Наткой в обнимочку сидишь, а ведь завидуешь ей — да, завидуешь! И к Юльке в тебе зависть и к Игорю... Каждый чем-то лучше тебя, о каждом ты, как обо мне, наплела бы черт те что. Добротой прикрываешься, а первая выскочила, когда разрешили,— можно дерьмом облить...

Вера ткнулась в Наткино плечо, а Юлечка выкрикнула:

— Гена!

— Что — Гена?

— Ты же не ее, ты себя позоришь!

— Перед кем? Перед вами? Так вы уже опозорили меня, постарались. И ты старалась.

— Сам хотел, чтоб откровенно обо всем...

— Откровенно. Разве ложь может быть откровенной?

— Я говорила, что думала.

— И я тоже... что думаю.

— Не надо нам было...

— Ага, испугалась! Поняла, что я сейчас за тебя возьмусь.

И без того бледное точеное личико Юлечки стало матовым, нос заострился.

— Давай, Гена. Не боюсь.

— Вот ты с любовью лезла недавно...

— Ты-ы!..

— А что, не было? Ты просто так говорила: пойдем вместе, Москву возьмем?

— Как тебе не стыдно!

— А притворяться любящей не стыдно?

— Я притворялась?..

— А разве нет?.. Сперва со слезами, хоть сам рыдай, а через минуту — светлячок-себялюбец. Чему верить — слезам твоим чистым или словам?.. И ты... ты же принципиальной себя считаешь. Очень! Только вот тебя, принципиальную, почему-то в классе никто не любил.

— Как-кой ты!..

— Хуже тебя? Да?.. Я себялюбивый, а ты?.. Ты не из себялюбия в школе надрывалась? Не ради того, чтоб первой быть, чтоб хвалили на все голоса: ах, удивительная, ах, необыкновенная! Ты не хотела этого, ты возмущалась, когда себялюбие твое ласкали? Да десять лет на голом себялюбии! И на школу сегодня напала — зачем? Опять же себялюбие толкнуло. Лезла, лезла в первые и вдруг увидела — не вытанцовывается, давай обругаю.

— Как-кой ты!..

Бледная от унижения Юлечка — осунувшаяся, со вздрагивающими веками, затравленным взглядом.

Не выдержал Игорь:

— Совсем свихнулся!

И Генка качнулся от Юлечки к нему:

— Старый друг, что ж... посчитаемся.

Игорь криво усмехнулся:

— Не до смерти, не до смерти, пожалей.

Генка с высоты своего роста разглядывал Игоря, сидящего на краешке скамьи бочком, с вызывающим изломом в теле — одно плечо выше другого, крупный нос воинственно торчит.

— А представь,— сказал Генка,— жалею.

— Вот это уж и вправду страшно.

— Нож в спину... Я — тебе?! Надо же придумать такое. А зачем? Вот вопрос.

Игорь, не меняя неловкой позы, презрительно отмолчался.

— Да все очень просто: на гениальное человек нацелен. Искренне, искренне о себе думаешь — Цезарь, не меньше!

— Тебе мешает, что кто-то высоко о себе...

— Цезарь... А любой Цезарь должен ненавидеть тех, кто в нем сомневается. Голову отрубить, Цезарь, мне не можешь, одно остается — навесить что погаже: такой-сякой, нож в спину готов, берегитесь!

— Ты же ничего плохого за моей спиной обо мне не говорил, дружил и не продавал?

— Да почему, почему сказать о тебе плохо — преступление? Неужели и в самом деле ты думаешь, что тебя в жизни — только тебя одного! — станут лишь хвалить? И никого не будет талантливей тебя, крупней? Ты самый-рассамый, макушка человечества! Да?

— Я себя и богом представить могу. Кому это мешает?

— Тебе, Цезарь! Только тебе! Уже сейчас тебя корчит, что не признают макушкой. А вот если в художественный институт проскочишь, там наверняка посильней тебя, поспособней ребята будут. Наверняка, Цезарь, им и в голову не придет считать тебя макушкой. Как ты это снесешь? Тебе же всюду ножи в спину мерещиться станут. Всюду, всю жизнь! От злобы сгоришь. Будет вместо Цезаря головешка. Ну, разве не жалко тебя?

Генка нависал над Игорем; тот сидел, вывернувшись в неловком изломе, выставив небритый подбородок.

— Ловко, Генка... мстишь... за нож в спину...

— Больно нужно. И незачем. Ты же сам с собою расправишься... Под забором умру... Не знаю, может, и в мягкой постели. Знаю, от чего ты умрешь, Цезарь недоделанный. От злобы!

Игорь коченел в изломе, блуждал глазами.

— Ну, спасибо,— сказал он сипло.
— За что, Цезарь?
— За то, что предупредил. Честное слово, учту.
Генка оскалился:
— Исправишься? Гениальным себя считать перестанешь?
— Хотя бы.
— Давно пора. Какой ты, к черту, Цезарь.
Матовые фонари висели в обложных сияющих облаках листвы, лицо Генки под их сильным, но бесцветным светом, отбрасывающим неверные тени, было бескровно-голубым, кривящиеся губы черными. Изломанно сидящий Игорь перед ним.
— Рад?! — наконец выдохнул Игорь.
Генка сильней скривил рот и ничего не ответил.
— Рад, скотина?!
И Генка оскалился. Тогда Игорь вскочил, задыхаясь закричал в смеющееся голубое лицо:
— Я же не палачом, не убийцей мечтал!.. Мешаю! Чем! Кому?!
Генка скалил отсвечивающие зубы.
— И ты мечтай! Кто запрещает?! Хоть Цезарем, хоть Наполеоном, хоть Христом-спасителем! Не хочешь! Не можешь! И другие не смей!.. Скотина завистливая!..
Взлохмаченный носатый Игорь, дергаясь, выплясывал перед долговязым Генкой. Тот слушал и скалил зубы.

15

— Дадим себе отчет: о чем мы сейчас мечтаем? Только о том, чтоб лучше готовить учеников? Нет! Готовить лучших людей! Мечтаем усовершенствовать человеческую сущность. А об этом мечтали с незапамятных времен. Можно сказать, мечта рода людского.
Решников хмыкнул:
— Гм!.. Не по Сеньке шапка. Задачка не школьного масштаба.
— Не школьного?.. А разве школа как общественное учреждение — не масштабное явление? Укажите такое место на карте, где бы не было школы. Назовите хоть одного человека, который бы сейчас прошел мимо школы. Кому и заниматься масштабными задачами, как не вездесущей школе с ее миллионной армией учителей.
— Но ты начал с того, что мы не верим сами се-

бе,— напомнила Ольга Олеговна Иннокентию Сергеевичу.

— Не верим потому, что никто из нас не чувствует себя бойцом великой армии, каждый воюет в одиночку. Вот ты, Ольга, завуч школы, много мне можешь помочь?.. Тем более что ты по образованию историк, тогда как я преподаю математику. А много ли помогает мне гороно с его методическим кабинетом? И от областных организаций и от нашего министерства нагоняев — да, жду, требований, приказов — да, но только не помощи! Я боец великой просветительной армии, нас миллионы, но я, как и каждый из этих миллионов, один в поле воин. Один!.. Школа — масштабное явление, но я-то этого никогда не чувствую.

— И кинолентой рассчитываешь объединить нас, одиночек?— спросил с усмешкой Решников.

— Хотя бы! Если кинолента несет в себе знания и опыт лучших учителей.

— Если лучших!.. На практике-то мы часто сталкиваемся с иным. Разве не выпускаются сейчас плохие учебники, почему же не быть плохим учебным кинолентам? У этой песенки два конца.

— Первый паровоз, первый многоверетенный прядильный станок тоже поперbegin первоначалу были крайне несовершенными, но вытеснили же они в конце концов ломового извозчика и пряху-надомницу,— спокойно возразил Иннокентий Сергеевич.

— Эге! Ты, вижу, мечтаешь совершить в педагогике промышленную революцию!

— Разумеется. А зачем нужна тогда паровая машина, если она не совершит переворота?

Наступило неловкое молчание.

Иннокентий Сергеевич сидел, расправив плечи, высоко подняв асимметричное лицо,— над измятой, стянутой рубцами скулой жил, настороженно поблескивал светлый глаз.

Ольга Олеговна исподтишка приглядывалась из своего угла: двадцать лет, считай, вместе, а не подозревала, что он, Иннокентий, недоволен школой. Один из самых благополучных учителей. Благополучные тяготятся своим благополучием. Юлия Студёнцева тоже была самой благополучной ученицей в школе.

— Хе-хе,— неожиданно колыхнулся на своем стуле директор Иван Игнатьевич,— чем мы тут занимаемся? В

облаках витаем. Мосты воздушные возводим. Хе-хе! Всемирные проблемы, революционные преобразования... А не пора ли нам спуститься на грешную землю, друзья?..

16

Игорь выкричался и потух, отвернулся от Генки — руки в карманах, взлохмаченная голова втянута в плечи, одна нога нервно подергивается. Генка, сведя белесые брови, уже без улыбки, хмуро глядел Игорю в затылок.

Юлечка, не спускавшая с Генки блестящих глаз, снова выдохнула:

— Н-ну, как-кой ты... опасный!

И Генка вскипел:

— Думали, барашек безобидный, хоть стриги, хоть на куски режь — снесу! Я вам не Сократ Онучин!

— Старик!.. За что?..

Генка досадливо повел на Сократа плечом:

— Тебя всего грязью обложи — отряхнешься да песенку проблеешь.

— Он взбесился, фратеры!

Сократ, прижимая к животу гитару, подавленно оглядывался.

— Что я ему плохого сделал, фратеры?

Игорь Проухов изучал землю и подергивал коленом.

Напружиненно поднялась Натка — вскинутая голова, покатые плечи.

— С меня хватит. Я пошла.

И Генка рванулся к ней:

— Нет, стой! Не уйдешь!

Она надменно повела подбородком в его сторону:

— Силой удержишь?

— И силой!

— Ну попробуй.

— Бежишь! Боишься! Знаешь, о чем рассказывать буду?

Натка ужаленно развернулась:

— Не смей!

— Ха-ха! Я же трус, не посмею — побоюсь.

— Генка, не надо.

— Ха-ха! Мне хочется — и что ты тут сделаешь?!

— Генка, я прошу...

— Ага, просишь, а раньше?.. Раньше-то пинала — трус, размазня!

— Прошу, слышишь?

— А ты на колени встань — может, пожалею.

— Совсем свихнулся!

— Да! Да! Свихнулся! Но не сейчас, чуть раньше, когда ты меня. Ты! Хуже всех! Злей всех! Всех обидней!

— Очнись, сумасшедший!

— Очнулся! Всю жизнь как во сне прожил — дружил, любил, уважал. Теперь очнулся!.. Слушайте... Ничего особенного — картинка с натуры, моментальный снимочек...

— Не-го-дяй!

— Негодяй. Да. Особенно перед тобой. Я же почти два года в твою сторону дышать боялся. Если ты в классе появлялась, я еще не видел тебя, а уже вздрагивал. Негодяй и трус — верно! Даже когда издали на тебя глядел, от страха обмирал, но глядел, глядел... Как ты голову склоняешь, как ты плечом поведешь... Я, негодяй, смел думать, что лучше ничего, чище ничего на всем, на всем свете! И ты меня, негодяя, мордой за это, мордой! И вправду, чего тебе жалеть меня.

— Гена-а...— дрогнувшим голосом. Натка вдруг вся обмякла, словно из нее вынули пружину.— Пошли отсюда. Слышишь, вместе... Хватит, Гена.

— Ага, будь послушненьким, чтоб потом снова всем: трус, жалок, хоть в какой узелок свяжу... Нет, Натка, теперь не обманешь, ты с головой себя выдала. Красивая, а душа-то змеиная! Как раньше любил, так теперь ненавижу! И лицо твое и тело твое, которое ты мне...

— За-мол-чи!!!

— Злись! Злись! Кричи. Мне даже поиграть с тобой хочется... в кошки-мышки... Ну, не буду играть, лучше сразу... Слушайте: это недавно было, после экзаменов по математике...

— Прошу же! Прошу!

—...Пошел я на реку, и, конечно, я, негодяй, шел по бережку и думал... о ней. Я же всегда о ней думал, каждую минуту, как проснусь, так и думаю, думаю, раскисаю... Значит, иду и думаю. И вдруг...

— Последний раз, Генка! Пожалеешь!

— Смотрите, снова напугать хочет. Как страшно!.. И вдруг вижу в воде у самого бережка — она...

— Рассказывай! Рассказывай! Весели! Давай! — зак-

ричала Натка, и ее крик отозвался где-то в глубине ночи смятенно-суматошным «вай! вай! вай!».

— Купается... Из воды только плечи и голова. Меня-то она раньше заметила — смеется...

— Давай! Давай! Не стесняйся!

Вай! вай! айся! — отозвалась ночь.

— Я же не ждал, я только думал о ней. А потом — я трус... Встал я столбом и рот раскрыл как дурак — ни туда ни сюда, «здравствуй» сказать не могу...

— О-о-о! — застонала Натка.

— А она знай себе смеется: уходи, говорит, я голая...

Натка всхлипнула и схватилась руками за горло — изломанные брови, растянутый гримасой рот, преобразившаяся разом, судорожно-некрасивая.

— Голая... Это она-то, на которую издалека взглянуть страшно. Уходи!.. Кто другой — не трус, не жалкий слюнтяй — может, ближе бы подошел, тары-бары, стал бы заигрывать. А я не мог. И как тут не послушаться — уходи. На улице издалека увижу — вся улица сразу меняется. И я... я задом, задом да за кусты. Там, за кустами, встал, дух перевел и честно отвернулся, чтоб нечаянно как-нибудь, чтоб, значит, взглядом нехорошим... Но уши-то не заткнешь, слышу — вода заплескалась, трава зашуршала, значит, вышла из воды... И рядом же, пять шагов до кустика. Она! И холодно мне и жарко...

Натка медленно опустила от горла руку, низко-низко склонила голову — плечи обвалились, спина сгорбилась.

— Шевелилась она, шевелилась за кустом, и вот... вот слышу: «Оглянись!» Да-а...

Натка горбилась и каменела, лица не видно, только гладко расчесанные на пробор волосы.

— Да-а... Я оглянулся. Я думал, что она уже оделась... А она... Она как есть... Я и в одежде-то на нее... А, черт! Об одном талдычу — ясно же!.. Она вся передо мной, даже волосы назад откинула. И небо синее-синее, и вода в реке черная-черная, и кусты, и трава, и солнце... Она, мокрая, белая, — ослепнуть! Плечи разведены, и все распахнуто — любуйся! И зубов полон рот, смеется, спрашивает: «Хороша я?»

— Мразь! — дыханием сквозь зубы.

— Сейчас, может быть. Сейчас! Но не был мразью! Нет! Глядел. Конечно, глядел! И захотел бы, да не смог глаз оторвать. И шевельнуться не мог. И оглох. И

ослеп совсем... Солнце тебя всю, до самых тайных складочек... Горишь вся сильней солнца, босые ноги на траве, руки вниз брошены, платье скомканное рядом, и улыбаешься... зубы... «Хватит. Уходи». То есть хорошего понемножку... И я послушался. А мог ли?.. Тебя!.. Тебя не послушаться, когда ты такая. Мог ли!.. А теперь-то понимаю — ты хотела, чтоб не послушался. Хотела, теперь-то знаю.

— Мразь! Недоумок!

— Опять ошибочка. Тогда — да, недоумок, тогда, не сейчас. Сейчас поумнел, все понял, когда ты меня трусом да еще жалким назвала. Мог ли я думать, что ты не богиня, нет... Ты просто самка, которая ждет, чтоб на нее кинулись...

Натка натужно распрямилась — лицо каменное, брови в изломе.

Вместо нее откликнулась Юля Студёнцева:

— Господи! Как-кой ты безобразный, Генка! — В голосе брезгливый ужас.

— По-самочьи обиделась, свела сейчас счеты: трус, мол, а почему — не скажу... Это не безобразно? Ну так мне-то зачем в долгу оставаться? Да и в самом деле теперь себя кретином считаю: такой случай, дурак, упустил!.. До сих пор в глазах стоишь... Груди у тебя в стороны торчат, а какие бедра!

И Натка вырвалась из окаменелости, большая, гибкая, метнулась на Генку, вцепилась ногтями, крашенными к выпускному празднику, в лицо.

— Подлец! Подлец! Подлец!!!

Голова Генки моталась из стороны в сторону. Наконец он перехватил руки, секунду сжимал их, дико таращась в Наткины брови, на его щеках и переносье проступали темные полосы — следы ногтей.

— Тьфу!

Натка плюнула в его исцарапанное лицо. Генка с силой толкнул ее на скамью. Испуганно взвизгнула подмятая Вера Жерих.

Задев плечом не успевшего откачнуться Игоря, Генка кинулся к обрыву.

С откоса из темноты долго был слышен бестолковый шум суматошных шагов.

Плотная, плоская ночь — как стена, как конец всего мира. Ночь пахла речной илистой сыростью.

17

Повернувшись в сторону бесстрастно-сумрачного учителя математики пухлой грудью, красным лицом, возбужденный, весело недоумевающий, Иван Игнатьевич всплескивал большими руками, сыпал захлебывающейся скороговорочкой:

— Иннокентий Сергеевич! Как же вы —вы! — на маниловщину сорвались? Лапушка Манилов мосты до Петербурга мысленно строил, вы же мечтаете — хорошо бы деткам нашим увлекательные учебные картинки показывать, знания по самому высокому стандарту без труда выдавать. Если б это говорили не вы, а кто-нибудь из молодых педагогов, хотя бы наш новый географ Евгений Викторович, вчерашний студент, я бы нисколько не удивился. Но вы-то человек трезвый, разумный, многими годами на деле проверенный, и нате вам — в миражи ударились!

— В миражи? —Иннокентий Сергеевич оборвал веселую директорскую скороговорку.— А рассчитывать, что можно поправить нашу педагогику кустарным способом, мотыжа в одиночку свой садик, не вера в миражи?

— Мой садик — сугубая реальность,— сухо бросил со стороны Решников,— а твои упования, согласись, из области фантазии.

— Не такая уж фантазия — показ учебных фильмов. Мы и сейчас уже их время от времени показываем,— напомнил Иннокентий Сергеевич.

— Но пока революцию они нам не делают. Не-ет! — снова обрушился Иван Игнатьевич.— Революция-то случится — если случится еще! — когда специальные киностудии по всей стране станут выпускать не единицами, а тысячами такие фильмы. От нас сие не зависит, значит, нам ждать прикажете— кто-то когда-то сверху революцию сотворит. А до тех пор нам сложа ручки сидеть, Иннокентий Сергеевич, дорогой? Дети-то не смогут ждать этой высокой революции, они к нам стучаться будут — принимайте, учите, воспитывайте, мы растем, развития требуем.

— Ну что ж, будем по старинке-матушке — каждый в своем закутке, в одиночку...

— Да нет, нет! Не получается у нас в одиночку! Да оглянитесь, как живем — трясем друг друга, на ковер

бросаем. Вон сейчас Ольга Олеговна Зою Владимировну бросила на лопатки, Павел Павлович — Ольгу Олеговну, вы, Иннокентий Сергеевич,— Павла Павловича, я вот вас пробую положить. И это называется жить в одиночку? Где уж...

— Бросаем на ковер, а результат? — резко спросила Ольга Олеговна из своего угла.

— А разве мы в таких битвах не добивались результатов? Вспомните, какой была наша школа лет семь тому назад. Нас тогда душили — даешь высокий показатель, и баста?! Отметки приходилось завышать, полных балбесов боялись на второй год оставить, до отчаянья доходили — думалось, рассадником невежества школа станет. И сходились вот так, и на ковер друг друга швыряли, и сплачивались, и разваливались, снова сплачивались, пока не победили. Теперь не показатели, а какие-никакие, но твердые знания даем. Результат это? Да! Но и этого, оказывается, мало — надели ученика, кроме знаний, еще высокими личными качествами! Вот сейчас у нас первая битва прошла, маленькая, так сказать, примерочная и пока безрезультатная. Сколько их будет, этих битв? Не знаю. Скоро ли поймаем за кончик хвоста желаемый результат? Тоже не знаю. Но убежден в одном: рано ли, поздно — чего-то добьемся. Тянем-потянем — и вытянем репку. Сами! Не ожидая, что кто-то нам руку протянет.

— Завидный у вас характер, Иван Игнатьевич,— произнесла Ольга Олеговна, подымаясь с места.

— Тренированный, Ольга Олеговна, тренированный. Вам-то известно, что меня чаще других на ковер бросают. Привычка выработалась духом не падать... Есть предложение: кончить на сегодня нашу вольную борьбу, разойтись по домам. Время-то позднее.

18

На скамье под освещенными липами металась Натка, каталась лбом по деревянной спинке:

— Он!.. Он!.. Я же его любя, а он!.. Сам-кой! О-о-о!..

Вера Жерих топталась над ней:

— Наточка, он же не только тебя, он всех... И меня тоже... А я, видишь, ничего...

— Перед всеми!.. Зачем?! Зачем?! И все вывернул!.. Не было, не было у меня тогда в мыслях дурного! Он — сам-ка!.. Под-лец!

Игорь нервно ворошил свою взлохмаченную шевелюру, ходил, как маятник, от одного конца скамьи до другого, слепо натыкаясь на Сократа, прижимающего к животу гитару, на Юлечку Студёнцеву, вобравшую голову в кисейные плечики.

— Лучше бы убил меня, чем так!.. Лучше! Честней!

— Наточка, он же всех...

Сократ, не спускавший глаз с Натки, задумчиво спросил:

— А меня-то он за что? А?..

Никто ему не ответил, каталась лбом по твердой спинке скамьи Натка.

— Как-кой он! — Юлечка вся передернулась — от белых бантов в косичках до щиколоток.

— Лучше бы убил!

Игорь внезапно остановился, развернулся всем телом, уставил твердый нос на бьющуюся в истерике Натку.

— Он и есть убийца,— заговорил Игорь.— Только бескровный. Такие вот высмотрят в человеке самое дорогое, без чего жить нельзя, и...

— Как-кой он безобразный!

— Нен-на-в-ви-жу! Нен-на-в-ви-жу! — металась Натка.

— Разве не все равно, каким путем убить жизнь — ножом, ядом или подлым словом. Без жалости подлец! И ловко, ловко!..

— Меня-то он за что? Я, фратеры, даже спас его. Яшка Топор подстраивал, я шепнул Генке...— Сократ, как младенца, укачивал гитару.

— У всех нашел самое незащищенное, самое дорогое —и без жалости, без жалости!.. Всех, и даже Натку...

Натка перестала метаться, припав лбом к спинке скамьи, замерла, согнувшись.

Юлечка снова передернулась:

— Как-кой он, однако... Бесстыдный!

— Фратеры, а ведь Яшка Топор снова его стережет,— объявил негромко Сократ.

— Два сапога — пара,— процедил сквозь зубы Игорь.

Натка оторвалась лбом от спинки скамьи, упираясь рукой, с усилием распрямилась — выбившиеся волосы падают на глаза, нос распух, губы вялые, бесформенные.

— Я сегодня такое узнал, фратеры... Не хотел гово-

рить Генке сразу, думал — праздник испорчу. Хотел шепнуть, когда домой пойдем.

Игорь с досадой передернул плечами:

— Какое нам до них дело!

— Мне — дело! — произнесла Натка.

У нее отвердело лицо, губы сжались, под упавшими волосами скрытно тлели глаза.

— Мне — дело! — повторила она громче, с гневным звоном в голосе.

— А-а, ну их! Пусть перегрызутся.— Игорь неприязненно отвернулся в сторону обрыва.

— И тебе есть дело!— Спрятанные за упавшими волосами Наткины глаза враждебно ощупывали Игоря.

Игорь не ответил, упрямо смотрел в сторону.

— Убийца же — сам сказал. Убийцу наказывают. А ты можешь?..

— При случае припомню.

— Не ври! Кишка у тебя тонка. А вот Яшка Топор может...

— Не хочешь ли, чтоб я помогал Яшке?

— Яшка сам справится, лишь бы не помешали.

— Ну и пусть справляется. Плевать. Для меня теперь Генка чужой.

Под спутанными волосами — враждебные глаза. Обернувшийся на Натку Игорь невольно поежился. Натка спросила:

— Вдруг кто из нас захочет помешать Яшке, как ты тогда?

— Никак. Мне-то что.

— Врешь! Врешь!.. Нен-на-виж-жу! И ты нен-навидишь!

— Да чего ты от меня хочешь?

— Хочу, чтобы Яшке не помешали! По старой дружбе, из жалости или просто так, из благородства сопливого. Хочу, чтоб все слово друг другу дали. Сейчас! Не сходя с места! От тебя первого хочу это слово услышать!

— Лично я ни Яшке, ни Генке помогать не собираюсь.

— Даешь слово?

— Пожалуйста, если так тебе нужно.

— Даешь или нет?

— Да слышала же: у нас с Генкой все кончено, с какой стати мне к нему бежать.

Натка минуту вглядывалась в Игоря недружелюбно мерцающими из-под упавших волос глазами, медленно повернулась к Сократу:

— А ты?.. Ты хотел шепнуть?.. Снова не захочешь?

— Я как все, фратеры. Генка и меня... ни за что ни про что.

Натка подалась к Вере:

— А ты?

— Что, Наточка?

— Что? Что? Не понесешь завтра на хвосте?

— Но Яшка, Наточка... Он же зверь.

— И верно, фратеры, Яшка на этот раз шутить не будет... Он страшненькое готовит.

И Натка вскипела:

— Уже сейчас раскисли! А завтра и совсем... Разжалобимся, перепугаемся, вспомним, что Яшка злой, Яшка страшненький, и — простим, простим, спасать наперегонки кинемся! Нен-на-виж-жу! Всех буду ненавидеть!

— Мое дело предупредить, фратеры. А там решайте. Как все, так и я. Мне-то зачем стараться перед Генкой.

— Ну, Верка?

— Наточка, если уж все...

— И все-таки жаль?

— Противен он мне.

— Даешь слово, что ни завтра, ни послезавтра — никогда не проговоришься?

— Да... даю.

Натка развернулась к Юлечке:

— Ты?

Юлечка, подняв кисейные плечики, стояла с прижатыми к груди кулачками, бледная, с заострившимся носом, с губами, сведенными в ниточку.

— Что тянешь? Отвечай!

— А если Яшка покалечит... или убьет?

— Если б Яшка звал Генку в карты играть, то и разговора бы не было.

— Даже если убьет?..

Натка медленно-медленно поднялась со скамьи, раскосмаченная, с упрятанными глазами, распухшим носом, искривленным ртом, шагнула на Юлечку:

— Жалеть прикажешь? Мне — его? Весь город завтра узнает, пальцами показывать станут: сук-ка!.. Мне жить нельзя, а ему можно? Да я бы его своими руками!..

Нен-на-виж-жу! Не смей. Не смей дорогу перебегать! Только шепни... Мне терять нечего!

Натка кричала, напирала грудью на побледневшую до голубизны, сжимавшую на груди маленькие кулачки Юлечку.

Игорь не выдержал, сердито крикнул:

— Хватит! О чем мы — Яшка, Генка... Да в первый раз такой треп слышим? Кто-то сболтнул, Сократ услышал, а мы заплясали. Ничего не случится, вот увидите — звон один.

— Нет, фратеры, не звон.— Узкое лицо Сократа вытянуто, голос приглушен, руки, держащие гитару, беспокойны.— Точные сведения, верьте слову.

— Кто тебе накапал? Не темни.

— Скажу. Только — могила. Если Яшка дознается, был Сократ Онучин — и нет его. Я не Генка, Яшке меня — раз чихнуть.

— Да кому нужно Яшке на тебя капать! Здесь Яшкиных приятелей нет. Выкладывай.

— Пашку Чернявого из Индии знаете?

— Это ты там всех знаешь, мы к ним в гости не ходим.

— Маленький такой, рожа в веснушках, волосы белые. Потому и прозвали Чернявым, что совсем на чернявого не похож. Он у меня, фратеры, уроки берет... по классу гитары. Так вот он мне под страшным секретом... Из верных рук, фратеры, из верных, верьте слову.

— Что сказал тебе Чернявый?

— Генка гоняет на велосипеде по Улыбинскому шоссе. Так?

— Ну, так.

— А шоссе мимо чего идет, помните?

— Шоссе длинное.

— Мимо Старых Карьеров, фратеры. Вот когда Генка мимо Карьеров погонит, этот Пашка Чернявый и выскочит...

— Один? На Генку?

— Ты слушай... Будет Пашка в рваной рубахе и портрет в крови. Специально разукрасят. Значит, выскочит он таким красивым и закричит: «Помогите! Убивают!» Ну, а Генка мимо проскочит, не остановится? Нет уж, сами знаете, козлом поскачет, куда укажут. «Помогите!» Чего ему не помочь, когда самбо в руках. Но в Карьерах-то его и встретят... Яшка с кодлой. В прош-

лый раз Генка Яшку красиво приложил. Теперь Яшка все учтет. Так что, ой, мама, не жди меня обратно — самбо не поможет.

19

Уже зашевелились, чтоб подняться, проститься, разойтись по домам, закончить затянувшийся вечер, а вместе с ним и очередной учебный год. Обычный год, напряженно-трудный, принесший под занавес нежданное огорчение.

Но тут все увидели, что Нина Семеновна, забыто сидевшая в стороне, собранным в комочек платочком промокает слезы с наведенных ресниц — плачет втихомолку.

— Что с вами, Нина Семеновна?

— Да так, ничего.

Ольга Олеговна устало опустилась рядом с Ниной Семеновной:

— Сегодня нам всем не по себе...

Нина Семеновна, комкая платочек, прерывисто вздохнула:

— Все о Юлечке думаю, и вот стало так жаль...

Директор Иван Игнатьевич укоризненно покачал головой:

— Бросьте-ка, бросьте! Юлию Студёнцеву жалко. Не страдайте за нее. Девица настойчивая, сами знаете, свое возьмет.

— Да мне не ее, а себя...— Нина Семеновна выдавила виноватую улыбку.

Ольга Олеговна заглянула под ее опущенные ресницы:

— О ней думаете — себя жаль?

— Я же на Юлечку надеялась очень. Да, все эти годы... Глупость, конечно, но мечтала: открою утром газету, а там ее имя, включу вечером телевизор — о ней говорят... Нет, нет, не слава мне была нужна! Есть люди, необходимость которых очевидна, они время несут на своих плечах. Можно ли, скажем, наступление нашего двадцатого века представить без Марии Кюри... Думалось, вдруг да Юлечка... А я-то ее у порога школы встретила. От меня значительный человек через времена двинулся, как большая Волга от маленького источника. И вот сегодня... Сегодня я поняла — не случится.

Да, да, вы правы, Иван Игнатьевич, за Юлечку беспокоиться нечего — свое возьмет. Но только свое, а на меня-то уже не хватит. Наверное, будет толковым инженером или врачом, каких много. А значит, я не исключительной удачи учитель, нет... таких много. Право, стыдно даже, какие глупости говорю, но настроила себя, чуть ли не все десять лет настраивала и ждала — будет, будет у меня сверхудача! Теперь вот поняла и до слез... Не смейтесь, пожалуйста.

Все молчали, рассеянно глядели каждый в свою сторону.

— Молоды вы еще, очень молоды! — вздохнул Иван Игнатьевич.— Кто из нас в молодости не мечтал великана в мир выпустить из своих рук!

— И, как правило, взмывали не те, от кого ждешь полета,— с горечью проговорила Ольга Олеговна.— Никто из нас не отличал особо Эрика Лобанова, а нынче профессор, и уже известный.

— Но это...— Нина Семеновна даже задохнулась от волнения,— это же доказательство нашей близорукости — не разглядеть в человеке, чем он значителен. Так можно и гения просмотреть!

Наверное, впервые за весь вечер Ольга Олеговна улыбнулась, покачала головой, увенчанной тяжелой прической:

— Мы не провидцы — обычные люди. Самые обычные. Предвидеть гения, тем более научить гениальному,— нет, нам не по силам. Научить бы самому простому, банальному из банального, тому, что повторялось из поколения в поколение, что вошло во все расхожие прописи — вроде уважай достоинство ближнего, возмущайся насилием... Собственно, научить бы одному: не обижайте друг друга, люди.

— Научить?! — воскликнула Нина Семеновна.— Кого? Юлечку! Гену Голикова! Игоря Проухова! Они все, все еще в детстве были удивительно отзывчивы на доброту. С самого начала, еще до школы, все добры от природы. И уж если они станут обижать друг друга, то тогда... Тогда остается только одно — повеситься на первом же гвозде от отчаяния.

Иннокентий Сергеевич повернул к свету изрытую сторону лица, тронул свой страшный шрам.

— Не исключено, что вот это украшение подарил мне вовсе не злой от природы человек. И я должен был

каких-то детей оставить сиротами, не ведая озлобления.

И Нина Семеновна с испугом отвела глаза, с жаром проговорила:

— Я готова каждый день повторять: господи, дай мне силы отдать жизнь тем, кого учу! Господи, не обмани меня, сделай их всех счастливыми!

— Стоит ли молиться! — отозвалась Ольга Олеговна.— Мы и без молитв делаем это — отдаем жизнь.

— Вот именно. И Зоя Владимировна тоже,— напомнил Иван Игнатьевич.

Ольга Олеговна встала, засмотрелась в темное распахнутое окно, за которым лежала притихшая улица.

— Мальчики и девочки, мальчики и девочки, как вы еще зелены! Нет, не готовы к жизни...— Помолчала и, не отрываясь от окна, спросила: — Интересно бы послушать, что они сейчас говорят о своем будущем?

— Пусть поют и веселятся. Думать о будущем им предстоит завтра.

Учителя задвигали стульями, стали подыматься.

20

Фонари освещали уголок сквера под липами — пять человек и пустая скамья. Сократ замолчал.

Юлечка, выставив на Натку острый подбородок, спросила:

— Слышала?

— Слышала! — Ответ с вызовом.— Ну и что? Я ненавижу его! Раньше любила. Открыто говорю: лю-би-ла! Теперь нен-навижу! Не прощу!

Щу!— отозвалось в ночи.

— Мне даже кошку жаль, когда ее бьют и калечат. Тут человек.

— Пусть каждый как хочет, Натка,— вступился Игорь.

— Опять заело у тебя, Иисусик. Убийцей же его называл, теперь простить готов. Трепач ты!

— Яшке помогать — не жди, не буду!

— Так помогай Генке! А сам говорил — они друг друга стоят, два сапога...

— Я к Генке не побегу, но других за руку хватать не стану.

— А я...— Юлечка задохнулась.— Я и Яшку бы... Да! Предупредила, если б кто-то убивать его собирался.

— Побежишь? Скажешь? Только попробуй!

— А что ты со мной сделаешь? За волосы удержишь?

— Попробуй... Все попробуйте! Только заикнитесь!

— Игорь! Ты слышишь? Игорь! Ты хочешь художником... Наверно, радовать людей хочешь. Наверно, думаешь: посмотрят люди твои картины — и добрей станут. Разве не так, Игорь? Добрей! А сам сейчас... Пусть бьют человека, пусть калечат, даже убить могут — тебе плевать. Сам не пойду, других держать не буду, моя хата с краю... Игорь! Пойдем к Генке вместе!

Прижимая ладошки к груди, натянуто-хрупкая, дрожащая, Юлечка тянулась к Игорю, на выбеленном лице просяще горели темные глаза. Игорь морщился и отводил взгляд.

— Черт! Ты думаешь, он шевельнул бы пальцем, если б нас Яшка...

— Стари-ик! — слабо изумился Сократ.— Надо быть честным, старик! Генка за нас всегда... Даже за незнакомых на улице... И ты знаешь, как он Яшку приложил.

— То раньше... Раньше он за меня готов черту рога сломать. А вот теперь... сомневаюсь.

— Тут что-то не то, фратеры. Раньше — не сомневаюсь. Значит, хорош был раньше, а на него накинулись. Зачем? Что-то не то...

— А кто накинулся? Кто?! — с отчаяньем закричал Игорь.— Я на него? Ты не слышал, как я говорил ему — не будем, не надо, кончим! Нет! Сам, сам напрашивался! Угрожал еще — не жди, не пожалею! А что ему сказали? Да то, что было. А он про нас понес что? Про каждого! На меня как на врага. И на тебя тоже, хотя ты ни слова плохого о нем... Все ему вдруг враги. И нас, врагов, ему любить и защищать? Да смешно думать. Ну, а мне-то зачем врага спасать? Он мне теперь чужой, посторонний!

Сократ тоскливо промолчал, мигал красными веками, оглаживал гитару.

Юлечка снова подалась на Игоря:

— Пусть он плохой, Игорь. Пусть чужой. Но не кошку — человека... собираются бить!

И снова Игорь сморщился, влез пятерней в растрепанные волосы.

— Ч-черт! Что же делать? Он мне в душу плюнул, а я к нему на полусогнутых...

Натка, каменея губами и скулами, слушала.

— Ну, поговорили? — сказала она резко.— Хватит! Теперь я скажу. Попробуйте помешать Яшке. Только заикнитесь! Пеняйте на себя. Тогда я сама к Яшке пойду, тогда я скажу ему, кто помешал...

Рука Сократа задела за струны, и гитара издала густой, тающий звук.

— Ага! Поняли — Яшка не простит, вместо Генки вас... разукрасит.

— Наточка! — всхлипнула Вера.

— Плоха? Мне теперь на все плевать! Хуже уже не стану.

Натка возвышалась со вскинутой головой, с гневливым мерцанием за упавшими на лицо волосами.

— Фратеры-ы...— тоскливо выдавил Сократ.

Игорь, не подымая глаз, сутулился, казалось, стал меньше ростом. У Юлечки торчит вперед острый подбородок, глаза остановились, утратили блеск.

— Фратеры-ы!.. Яшка меня первого...

— Иди! — с высоты своего роста кинула Натка Юлечке.— За волосы держать — больно нужно.

И Юлечка, не спуская с Натки остановившихся глаз, тихо произнесла:

— Пойду.

— Юлька!— заволновался Сократ.— Ты Яшку не знаешь, Юлька! Он любого!.. И меня и тебя... Он не посмотрит, Юлька, что ты девчонка.

— Одна пойду. Донеси Яшке...

Сократ поводил зябко плечами, суетливо топтался:

— Игорь! Старик! Скажи ей, дуре... Ты-то знаешь, какой он, Яшка. Она и себя и всех нас... Меня Яшка первого... Ему убить — раз плюнуть.

— Слышишь, Игорь,— раз плюнуть. Так помогите Яшке, он без тебя не справится!

Игорь дрожащей рукой провел по лицу:

— Да ну вас всех к черту.— Вяло, без энергии: — С ума посходили...— И вдруг вскинулся на Сократа: — Ты что голову тут морочишь? Страшен! Страшен! Убить — раз плюнуть. Да никого он не убьет — ни Генку, ни тебя. Что он, без головы, что он, не понимает — за такое ему вышку врежут. Ну, проучит Генку, если тот сам им раньше руки не переломает.

— Нет, фратеры! Нет! — задохнулся Сократ,

— Он пугает, Юлька. Ничего не случится, цел Генка останется.

— А если случится, тогда что?

— Да Яшка же знает: чуть что — его первого щупать станут. Кому своей головы не жаль.

— Игорь, ты не трясись. Ведь я уже не зову тебя. Я одна все сделаю. Сам не трясись и Сократа успокой, вон как он от страха выплясывает.

— Юль-ка-а...— Сократ заговорил сдавленным шепотом.— Ты сообрази, Юлька, почему Яшка Карьеры выбрал. Думаешь, место глухое, потому... Глухих мест без Карьеров много. А в Старых Карьерах захоронения есть. Слышала — туда из комбината всякую ядовитую пакость свозят. Яшка все продумал, фратеры: стукнут они Генку — и... в яму, за табличку, где череп с косточками, куда даже подходить запрещено. Хватятся — человек пропал, где его искать? Сперва же по реке да по кустам шарить будут. Пока шарашатся, глядишь, яму заполнят, цементом зальют, землей сверху закидают. Захоронения же! А там, говорят, какие-то страшные кислоты, они все разъедают — и мясо и кости. Был человек да растаял, ничего-шеньки от него не осталось. Яшка может каждого так...

Захлебывающийся шепот Сократа оборвался.

Не раз в эту ночь наступали тихие паузы, но такой тишины еще не обрушивалось. Далеко-далеко гудело шоссе, связывающее город с не засыпающим на ночь комбинатом. Сам город спал, разбросав в разные стороны прямые строки уличных фонарей.

И сияла над головой застывшая листва лип, и высился обелиск павшим воинам, и дышала ночь речными запахами.

Генка Голиков... Он только что стоял здесь — белая накрахмаленная сорочка, облегающая широкую грудь, темный галстук, крепкая шея, волосы светлой волной со лба. Обиженный Генка, обидевший других! Рост сто девяносто, лепное лицо, крутой лоб, белесые брови, волосы светлой волной... И в запретном месте, заполненные ядовито-зловонными, разъедающими все живое отходами ямы. Для Генки. Генка Голиков — и ямы...

Тихо-тихо кругом, гудит далекое шоссе, спит украшенный огнями город, ночь дышит речной сыростью.

Слово «убить» было произнесено раньше. И не раз. Но до этой тихой минуты никто из вчерашних школь-

ников не в силах был представить себе, что, собственно, это такое.

Теперь вдруг представили. Через несовместимое: Генка — и ямы...

21

Ольга Олеговна и директор Иван Игнатьевич шли по спящему городу. Иван Игнатьевич говорил:

— Мы вот в общих проблемах путались, а я все время думал о сыне. Да, да, об Алешке... Вы же знаете, он не попал в институт. И глупо как-то. Готовился, и настойчиво, на химико-технологический, а срезался-то на русском языке — в сочинении насадил ошибок. Пошел в армию... Нет, нет, я вовсе не против армии, мне даже хотелось, чтоб парень понюхал воинской дисциплины, пожил в коллективе, чтоб с него содрали инфантильную семейную корочку. Не армия меня испугала, а сам Алешка. Собирался стать химиком, никогда не мечтал о воинской службе, но спокойно, даже, скажу, с облегчением встретил решение, сложившееся само собою, помимо него. Армия-то его устраивает потому только, что там не надо заботиться о себе: по команде подымают, по команде кормят, учат, укладывают спать. Каждый твой шаг размечен, записан, в уставы внесен — надежно. Что это, Ольга Олеговна,— отсутствие воли, характера? Не скажу, чтоб он был, право, совсем безвольным. Он как-то взял приз по лыжам. Не просто взял, а хотел взять, готовился с упорством, нацеленно, волево. А характер... Гм! Да сколько угодно. Что-что, а это уж мы в семье чувствовали. Но вот что я замечал, Ольга Олеговна, он слишком часто употреблял слова «ребята сказали... все говорят... все так делают». Все носят длинные волосы на загривке — и мне надо, все употребляют словечко «пахан» вместо «отец» — и я это делаю, все берут призы по спортивным соревнованиям — и мне не след отставать, покажу, что не хуже других, волю проявлю, настойчивость. Как все... Так даже не легче жить! Отнюдь! Надо тянуться за другими, а сколько сил на это уходит. Не легче, но гораздо проще. Легкость и простота — вещи неравнозначные. Проще существовать по руководящей команде, но, право же, необязательно легче.

Ольга Олеговна остановилась.

— Как все — проще жить? — переспросила она.

Остановился и Иван Игнатьевич.

Над ними сиял фонарь — пуста улица, темны громоздящиеся одно над другим по отвесной стене окна, спал город.

— Да ведь мы все понемногу этим грешим,— виновато проговорил Иван Игнатьевич.— Кто из нас не подлаживается: как все, так и я.

— А вам не пришло в голову, что люди из породы «как все, так и я» непременно примут враждебно новых Коперников и Галилеев потому только, что те утверждают не так, как все видят и думают? К Коперникам — враждебно, к заурядностям — доверчиво.

— М-да. Недаром говорится в народе: простота хуже воровства.

— Воровства ли? Не простаки ли становились той страшной силой, которая выплескивала наверх гитлеров? «Германия — превыше всего!» — просто и ясно, объяснений не требует, щекочет самолюбие. И простак славит Гитлера!

— М-да. Но к чему вы ведете? Никак не уловлю.

— К тому, что мы поразительно слепы!

— А именно?

— Целый вечер спорили — дым коромыслом. И на что только не замахивались: обучение и увлечение, равнодушие и преступность, ремесленничество и техническая революция. А одного не заметили...

— Чего же?

— На наших глазах сегодня родилась личность! Событие знаменательное!

— М-да... Но, позвольте, все кругом личности — вы, я, первый встречный, если б такой появился сейчас на улице.

— Все?.. Но вы, Иван Игнатьевич, сами только что сказали: кто из нас не грешит — как все, так и я, под общую сурдинку. Смазанные и сглаженные личности — помилуйте! — не нелепость ли? Вроде сухой воды, зыбкой тверди, лучезарного мрака. Личность всегда исключительна, нечто противоположное «как все».

— Если вы о Студёнцевой, так она и прежде была исключительна, не отымешь.

— Она отличалась от остальных только тем, что это «как все» удавалось ей лучше других. И вдруг взрыв — не как все, себя выразила, не устрашилась! Событие, граничащее с чудом, Иван Игнатьевич.

— Ну уж и чудо. Зачем преувеличивать?

— Если и считать что-то чудом, то только рождение. Родилась на наших глазах новая, ни на кого не похожая человеческая личность. Не заметили!

— Как же не заметили, когда весь вечер ее обсуждали.

— Заметили лишь ее упреки в наш адрес, о них говорили, их обсасывали, и ни слова изумления, ни радости.

— Изумляться куда ни шло, ну а радоваться-то нам чему?

— Нешаблонный, независимо мыслящий человек разве не отрадное явление, Иван Игнатьевич?

— М-да...— произнес Иван Игнатьевич, с сомнением ли, с осуждением или озадаченно — не понять.

Они двинулись дальше.

Их шаги громко раздавались по пустынной улице — дробные Ольги Олеговны, тяжелые, шаркающие Ивана Игнатьевича. Воздух был свеж, но от стен домов невнятно веяло теплом — отдыхающие камни нехотя отдавали дневное солнце.

22

Слово «убить», которое так часто встречалось в книгах, звучало с экранов кино и телевидения, вдруг обрело свою безобразную плоть.

Натка на пригибающихся ногах, слепо вытянув вперед руки, двинулась к скамье.

Вера сдавленно всхлипнула, Игорь — остекленевший взгляд, одеревеневший нос, темный подбородок — стал сразу похож на старичка, даже штаны спадают с худого зада.

Виновато переминался Сократ с гитарой. Юлечка застыла в наклоне — вот-вот сорвется бежать.

А тишина продолжалась. И шумело далеко в ночи за городом шоссе.

Вера всхлипнула раз, другой и разревелась:

— Я... Я вспомнила...

— Нам теперь будет что вспомнить,— глухо выдавил из себя Игорь.

— Я... Я в кабинете физики... трансформатор... пережгла. Один на всю школу и... дорогой. Генка сказал...— Плечи Веры затряслись от рыданий.— Сказал, это он сделал. Я не просила, он сам... Сам на себя!

— А меня... Помните, меня из школы исключали,— засуетился Сократ.— Мне было кисло, фратеры. Мать совсем взбесилась, кричала, что отравится. Кто меня спас? Генка! Он ходил и к Большому Ивану и к Вещему Олегу. Он сказал им, что ручается за меня... А мне сказал: если подведу, набьет морду.

Игорь судорожно повел подбородком.

— О чем вы? — выкрикнул он сдавленно.— Трансформатор!.. Генка никогда не был таким... Таким, как сегодня! Трансформатор... Вы вспомните другое: я, ты, Сократ, все ребята нашего класса, да любой пацан нашей школы ходил по улице задрав нос, никого не боялся. Каждый знал— Генка заступится. Генка нашим заступником был — моим, твоим, всех! А сам... Он сам обидел кого-нибудь?.. Просто так, чтоб силу показать... Не было. Никого ни разу не ударил!.. И вот нас сегодня...

— Опомнись! — резко оборвала Юлечка.— Мы же раньше его обидели! Все скопом. И я тоже.

— А я... Я ведь не хотела...— заливалась слезами Вера.— Я откровенно, до донышка... Он вдруг обиделся... Не хотела!

— Юль-ка-а! — качнулся Игорь к Юлечке.— Скажи, Юлька, как это мы?.. Чуть-чуть не стали помощниками Яшки.

— Стали,— жестко отрезала Юлечка.— Согласились помочь Яшке. Молчанием.

На скамье в стороне сидела Натка, прямая, одеревеневшая, с упавшими на глаза волосами, с увядшими губами.

— Нет, Юлька! Нет! — Тоскливое отчаянье в голосе Игоря.— Нет, не успели! Слава богу, не успели!

— Согласились молчать или нет?

Бледное, заострившееся личико, округлившиеся, тревожно-птичьи глаза в упор — Игорь сжался, опустил взгляд.

— Согласились или нет?!

Игорь молчал, опущенные веки скрывали бегающие зрачки. Молчали все.

Натка, окоченев, сидела в стороне.

— Раз согласились, значит, стали!.. Уже!.. Пусть маленькими, пятиминутными, но помощниками убийцы!

Игорь схватился за голову, замычал:

— М-мы-ы! М-мы-ы — его!..

— А я не хотела! Не хотела! — захлебывалась Вера

— А я хотел? А другие? М-мы — его!

Игорь мычал и качался, держась за голову.

Натка, деревянно-прямая на скамье, подняла руки, неуверенно, неловко, непослушными пальцами, как пьяная, стала заправлять упавшие волосы. Так и не заправила, обессиленно уронила руки, посидела, мертво, без выражения глядя перед собой, сказала бесцветно:

— Я пойду...

И не двинулась.

Тишина. Далеко за городом шумело шоссе.

Игорь опустил руки, обмяк.

— Юль-ка...— снова просяще заговорил он.— Не были же такими... Нет... Ни Генка, ни мы...

Тишина. Обмерший город внизу — темные кварталы, прямые строчки уличных фонарей да загадочный неоновый свет над вокзалом. Шумело шоссе.

— Юль-ка... Я чувствовал, чувствовал, ты помнишь?

Глядя в сторону, Юлечка ответила тихим, усталым голосом:

— Не лги... Никто из нас ничего не чувствовал... И я тоже... Каждый думает только о себе... и ни в грош не ставит достоинство другого... Это гнусно... вот и доигрались...

Опираясь на спинку скамьи, Натка наконец с трудом поднялась:

— Я пошла... к нему... Никто не ходите со мной. Прошу.

И опять застыла, нескладно-деревянная, слепо уставясь перед собой.

Все косились на нее, но сразу же стыдливо отводили глаза и... упирались взглядами в обелиск, в мраморную доску, плотно покрытую именами:

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ — рядовой
БАЗАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ — рядовой
БУТЫРИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ — старший сержант...

Обелиск — знакомая принадлежность города. Настолько знакомая, привычная, что уже никто не обращал на нее внимания, как на морщину, врезанную временем, на отцовском лице. Обелиск весь вечер стоял рядом, в нескольких шагах... Сейчас его заметили — отводили глаза и вновь и вновь возвращались к двум столбцам имен на камне с тусклой, выеденной непогодою позолотой,

Нет, выбитые на камне, вознесенные на памятник лежали не здесь, их кости раскиданы по разным землям. Могила без покойников, каких много по стране.

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ — рядовой
БАЗАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ — рядовой...—

и еще тридцать два имени, кончающихся на неком Яшенкове Семене Даниловиче, младшем сержанте.

Убитые... Умерших своей смертью тут нет. Окаменевшая гордость за победу и память о насилии, совершенном около трех десятилетий назад, задолго до рождения тех, кто сейчас немотно отводит глаза...

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ...
БАЗАЕВ...

Убитые уже не могут ни любить, ни ненавидеть. Но живые хранят их имена. Для того, наверное, чтоб самим ненавидеть убийство и убийц.

Бывшие школьники отводили глаза...

Натка качнулась:

— Я пошла...

Негнущаяся, с усилием переставляя ноги, она прошла мимо обелиска к обрыву.

Долго было слышно, как осыпается земля под ее ногами.

Ночь уже не напирала с прежней тугой упругостью. Призрачная синева проступала в небе, и редкие звезды отливали предутренним серебром.

23

Физик Решников и математик Иннокентий Сергеевич жили в одном доме. Они подошли к подъезду и неожиданно вспомнили:

— Э-э! Какое сегодня число?

— А ведь да! Двадцать второе июня...

— Тридцать один год...

— Пошли,— сказал Решников,— у меня есть бутылка коньяку.

Они поднялись на пятый этаж, тихонько открыли дверь, забрались в кухню. Решников поставил на стол бутылку.

— Уже светает.

— Как раз в это время...

В это время, на рассвете, тридцать один год назад начали падать первые бомбы, и двое пареньков в разных концах страны, только что отпраздновавшие каждый в своей школе выпускной вечер, отправились в военкоматы.

За окном синело. За узким кухонным столиком перед початою бутылкой — два бывших солдата.

— Ты можешь представить нынешних ребят в занесенных снегом окопах где-нибудь под Ельней?

— Или у нас под Ленинградом, где мы жрали мерзлые почки с берез?

— В каких костюмах они сегодня были, в каких галстуках!

— Учти, каждый при часах, а первые часы я купил, проработав два года учителем.

— И все-таки в счастливое время они живут.

— Не удивительно, как сказала эта Нина Семеновна, добры от природы. Должны быть добрее нас.

— Ну, сия гипотеза еще нуждается в проверке... На посошок, Иннокентий?

— Выпьем за то, чтоб они не мерзли в окопах.

А в том же доме, этажом ниже, в своей одинокой тесной комнате не спала, плакала в подушку Зоя Владимировна, старая учительница, начавшая свое преподавание еще с ликбеза.

Нина Семеновна, сегодня неожиданно тоже ставшая старой учительницей, изнемогала от материнской нежности и тревоги: «Какие взрослые у меня ученики! Что их ждет? Кто кем станет? Кем Юлечка? Кем Гена?»

Она жила в новом квартале, на окраине, не спеша шла сейчас пустыми улицами, через просторные пустые площади, и маленький город, где родственно знаком был каждый тупичок, каждый перекресток и каждый угол, выглядел сейчас, в мутно-синих сумерках, величественным и таинственным.

Перед подъемом к набережному скверику она неожиданно увидела своих учеников. Они спускались по широкой лестнице — Сократ Онучин с гитарой, встрепанный, как всегда, нахохленный Игорь Проухов, задумчивая, клонящая вниз гладко расчесанную голову Юлечка Студёнцева, и Вера Жерих, увалисто-широкая, покой-

но-сосредоточенная. Тесной кучкой, молчаливые, заметно уставшие, пережившие свой праздник. Похоже, они уже несут сейчас недетские мысли.

Старая присказка: жизнь прожить — не поле перейти. Не первые ли самостоятельные шаги через жизнь — самые первые! — она сейчас наблюдает? Далеко ли каждый из них уйдет? Кем станет Юлечка?..

Ребята прошли, не заметив Нину Семеновну.

Они проходили мимо школы.

В необмытой от сумерек рассветной голубизне школа вознесла и развернула все свои четыре этажа размашисто-широких, маслянисто-темных окон. Непривычно замкнутая, странно мертвая, родная и чужая одновременно. Скоро взойдет солнце, и нефтянисто отсвечивающие окна буйно заплавятся — все четыре этажа. Должно быть, это мощное и красивое зрелище.

Запрокинув голову, бывшие десятиклассники разглядывали свою школу в непривычный час, в непривычном обличье. Каждый мысленно проникал сквозь глухие, налитые жирным мраком окна в знакомые коридоры, в знакомые классы.

Вера Жерих шумно и тяжко вздохнула. Юлечка Студёнцева тихо сказала:

— Здесь было все так понятно.

Долго никто не отзывался, наконец Игорь произнес:

— Мы научимся жить, Юлька.

Вера снова шумно вздохнула.

А на реке по смолисто загустевшей воде ползли неряшливые клочья серого тумана. Натка с мокрым, липнущим к ногам подолом платья, в насквозь мокрых от росы праздничных туфлях бродила по берегу, искала Генку.

Ночь после выпуска кончилась.

Тендряков В. Ф.

Т33 Ночь после выпуска. М., «Сов. Россия», 1976.
80 с. (Человек среди людей).

Это повесть о вчерашних школьниках, о первых сложных жизненных ситуациях, которые ждут их на пороге самостоятельной жизни. О проблемах, стоящих перед школой сегодня.

Р2

Владимир Федорович Тендряков

НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

Редактор **П. Д. Кондюкова**
Художник **В. Я. Мирошниченко**
Художественный редактор **Р. А. Клочков**
Технический редактор **Л. М. Беседина**
Корректор **М. Е. Барабанова**

Кодированный оригинал-макет издания подготовлен на электронном печатно-кодирующем и корректирующем устройстве «Север». Подписан в печать 19/VI-75 г. Форм. бум. 84×108¹/₃₂. Физ. п. л. 2,5. Уч.-изд. л. 4,27. Усл. п. л. 4,20. Изд. инд. МПЛ-23. А09329. Тираж 100.000 экз. Цена 14 коп. Бум. № 2.

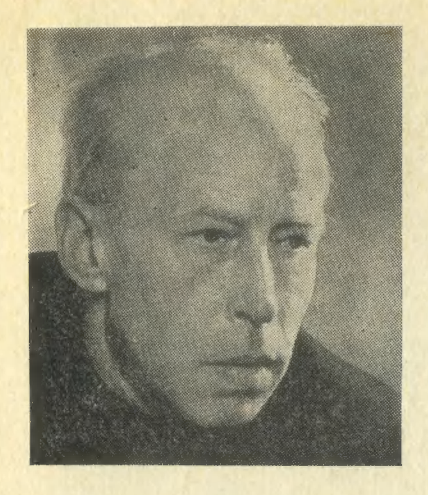
Издательство «Советская Россия»,
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25. Заказ 201.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия».

14 коп.



Владимир Федорович Тендряков известен советскому читателю своими произведениями о жизни послевоенной деревни («Не ко двору», «Ухабы», «Тугой узел»); о нравственном перерождении людей, корыстно использующих свое положение в обществе («Падение Ивана Чупрова», «Поденка — день короткий», «Кончина»); произведениями, где он выступает с критикой суеверий, сектантства и иных форм духовного застоя, способствующих оживлению религии («Чудотворная», «Чрезвычайное», «Апостольская командировка»). Писателем созданы романы — «За бегущим днем», «Свидание с Нефертити», повести и многое другое.

Основные произведения писателя переведены на языки народов СССР и многие иностранные языки.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ